

Ксения Веснянка

Змеиной тропой



Ксения Веснянка

Змеиной тропой

<https://litres.ru/74681184>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ждана — Хозяйка избы на границе. Провожает души, поит мёртвой водой, разговаривает со змеями. Она знает: не все хотят уходить. А некоторые, не те, кем кажутся.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	16
Глава 3	30
Глава 4	41
Глава 5	47
Глава 6	51
Глава 7	55
Глава 8	64
Глава 9	68
Глава 10	75
Глава 11	79
Глава 12	84
Глава 13	88
Глава 14	94
Глава 15	102
Глава 16	112
Глава 17	121
Глава 18	126
Глава 19	134
Глава 20	148
Глава 21	155
Глава 22	162
Конец ознакомительного фрагмента.	163

Ксения Веснянка

Змеиной тропой

Глава 1

При работе над рукописью автор использовал нейросетевые инструменты для проверки орфографии, поиска логических повторов и первичной вычитки. Все сюжетные решения, характеры героев, диалоги и художественные образы созданы автором самостоятельно. Текст является авторским произведением.

— И вот... лезут они на берёзу всей гурьбой, — Ждана даже руками показала, как лезут, и змеи за ней головы задрали, следя за движением. — А берёза та, тонкая, девица-девицей, гнётся, скрипит, но держит. Лешак-то, он же старый, лысый, пузо вон какое отрастил, от жёлудя до жёлудя не обхватишь! — и прёт вперёд, а пузо ему мешает, за корни цепляется. А кикимора снизу поддаёт, торопит: «Давай, давай, не спи, у тебя ноги длинные!»

Змеи зашуршали, засмеялись по-змеиному, кто хвостом затряс, кто чешуёй зашелестел.

— Дозлези они до середины, а берёза как вздохнёт, и хрясь! — Ждана ладоши хлопнула, змейка с её косы от

неожиданности подскочила, но не уползла, только голову выше высунула. — И все летят в крапиву! Лешак кубарем, кикимора колесом, а за ними ещё и ворона, что на ветке сидела, любопытная, тоже в крапиву, за компанию.

— Лешак сидит в крапиве, лысина в волдырях, руками машет, а выбраться не может, пузо застряло меж двух кустов. А кикимора хохочет, заливается, по земле катается, ногами дрыгает и приговаривает: «Я ж тебя, старого, на орехи звала, а ты прёшься, как медведь на кабана! Какие из берёзы орехи, ты, пень трухлявый? У неё серёжки, а ты пузом вперед!»

Тут уже и змеи не выдержали: кто свистит, кто шипит, кто кольцом свернулся и покатывается со смеху. Зелёная змейка с жёлтыми глазами из Жданиной косы свесилась вниз головой, чтоб лучше слышать, и тоже хохочет, маленьким таким змеиным смехом, на писк похожим.

Она сидела на высоком пне, молодая, семнадцать лет от роду, тонкая, как берёзка, чуть покачивала ногами в лаптях и рассказывала змеям смешную историю. Тяжёлая каштановая коса, темнее старого мёда, свешивалась почти до земли. Солнце путалось в волосах, золотило россыпь веснушек на чуть курносом носу, падало на прозрачно-белую кожу, и только у левого виска горела серебряной нитью седая прядь, словно кто-то метку оставил, чтоб не спутал с другими.

— А лешак ей сгоряча: «Сама-то хороша, наставница! Вместо орехов мне крапиву подсунула. И ворону зачем уронила? Она теперь три дня будет каркать, что я с берёзы упал,

мне стыдно в лес показаться!» А ворона из крапивы вылезает, вся лохматая, перья торчком, и каркает: «Я теперь тоже в лесу посмешище! Кыш отсюда, горе-лазальщики!»

Ждана перевела дух, улыбнулась широко, веснушки на носу собрались гармошкой.

— И давай они там, в крапиве, друг дружку корить, кто кого смутил и кто кого подговорил. Лешак кричит, кикимора хохочет, ворона каркает, крапива жжётся, такой тарарам поднялся, что белки с соседних деревьев попрятались. А со-роки, те вообще всю округу облетели, всем разнесли. И потом три дня в лесу тишины не было: как кто вспомнит, так и фыркнут. Даже филин ухал не по-филиновски, а со смешком.

Змеи зашлись в последнем приступе смеха, зелёная из косьы выпала в траву и там ещё долго тряслась, тонким хвостиком суча. Ждана рассмеялась, легко, звонко, грудным своим смехом, от которого даже старые ужи головы подняли. А потом, словно вспомнив что-то, повела плечом, поправила платок, съехавший на затылок, и вдруг запела.

— А липа цвела, да облетела, — запела Ждана негромко, покачиваясь на пенёке в лад мелодии. — А молодость моя да пролетела... Не зови, соловей, по зарям, не тревожь... Всё, что было, не воротишь, что будет, подождь...

Голос у неё был грудной, тёплый, словно мёд с парным молоком смешали. Змеи замерли, кто голову поднял, кто рот открыл, слушали, не шелохнувшись. Даже старая жёлтобрю-

ха, что век свой дремала, выползла из норы, заслушалась.

За селом, там, где широкая, накатанная дорога сходит на нет и превращается в узкую погребальную стёжку, такую, по которой только лошадь с телегой и пройдёт, да и то если осторожно, начинается её земля.

Дорога эта прямая, как стрела, никто по ней просто так не ездит, потому что ведёт она к оврагу. Да и лошади сами сворачивают, если не править, чуют, видно, что там, впереди.

Овраг глубокий, страшный. Дно его даже днём не разглядеть, вечно там туман клубится, седой, плотный, точно тесто заквашенное. В самый солнечный полдень выползает он из низины, стелется по земле, лижет корни берёз. А вода, говорят, там чёрная течёт. Не чёрная даже, чернее ночи, чернее земли, чернее того, что снится, когда лихорадка бьёт. Никто её не видел, ту воду, но все знают: есть.

А через овраг перекинут мост. Старый: брёвна почернели, перила мхом обросли, а крепкий. Дубовый. Топнешь, гудит глухо, словно не под ногой, а в самой земле отзывается. Кто мост этот ставил, никто не помнит. Говорят, ещё деды прадедов рассказывали, что уж тогда он стоял. И стоит век, а то и два, и ни разу не подвёл. Никого не упустил, никого не обронил. И ночью, говорят, светится чуть синевато так, холодно. Чтобы души дорогу видели.

Перейдёшь мост, сразу погост открывается. Не вдруг, а точно сам из-под земли вырастает: шагнул и вот он, встретил.

Место ровное, сухое, берёзами обсаженное. Берёзы здесь старые, стволы белые, но словно в чёрных подтёках, точно плакали чем-то горьким да засохли. Листва на них шелестит даже без ветра, не то шепчутся, не то жалуются.

Домовины стоят, маленькие деревянные избушки для мёртвых. Каждая с окошечком на восход, чтобы душа могла смотреть, как солнце встаёт. Да только солнце сюда редко заглядывает, всё больше тень от берёз, холодная, пятнистая. И окошки те пустые глядят, чёрные изнутри, словно никто в них никогда не выглядывал и не выглянет.

А вокруг голубцы торчат, столбики с крышей, под которыми поминальную еду оставляют. Кто побогаче, тот голубец резной, с узорами: то ли птицы, то ли звери, то ли морды чьи-то не людские. Кто победнее, простой, некрашенный, но всё ж видно: ставили с мыслью, с поклоном. На иных ещё остатки еды, краюшки хлеба чёрствого, яйца, луковицы. Всё засохшее, старое, ветром обдудое.

Тихо здесь. Даже птицы не поют. Только где-то далеко-далеко, словно с того света, доносится то ли вой, то ли ветер в берёзах путается. И пахнет сыростью, старой корой и ещё чем-то сладковатым, приторным, отчего дышать хочется реже и тише.

А меж домовин, у самых голубцов, трава растёт, густая, сочная, яркая. Не как везде, а словно её тут мёртвые кормили. Ступишь и кажется, что под ногой не земля, а что-то живое, дышащее, ждущее. А за погостом, в пяти минутах

неспешного шага, изба.

Стоит она на пригорке, лицом к погосту, спиной к лесу. Рядом с избой берёзы растут, белые, светлые, словно девицы в сарафанах собрались хоровод водить. А сразу за избой сосны начинаются, тёмные, высокие, шумят не переставая. И если берёзы при избе как подружки, то сосны, как стражи, молчаливые и строгие.

Изба ладная, рубленая крепко, с крылечком в три ступеньки. Наличники резные, не для красоты даже, а чтобы духов беречь, свой порядок в доме держать.

У крыльца два кувшина.

Слева, где солнце не греет, чёрный. Тёмный, обожжённый, словно из самого пекла реки Смородины вышел. В нём вода мёртвая, из Нави принесённая, чистая, неразбавленная. Для тех, кто с того света, для душ, что только отошли и ещё путаются, дорогу к Калинову мосту ищут. Глоток такой воды, и холод внутри унимается, мысли проясняются. Отопьют и понимают, куда идти надо, перестают меж мирами метаться. Этот кувшин для Нави. Для тех, кому туда дорога.

Справа, на солнышке, белый. Светлый, молочный, иногда его Хозяйка белой глиной покрывает, а иногда просто берёстой оборачивает, чтоб не путали. В нём вода та же, мёртвая, да только слабее, на травах настоящая. Для живых, кто с горем пришёл. Кто отопьёт, у того сердце унимается, боль внутри запечатывается, чтобы сил хватило проводить кого надо, похоронить, поплакать и дальше жить. Глотнёшь та-

кой, и легче дышится, и слёзы сами собой высыхают.

А для Вырия ничего не нужно. Туда души уходят сами. Легко, как листья по воде. Их не надо поить мёртвой водой, не надо вести за руку. Они сами находят дорогу к Калинову мосту, сами ступают на него, переходят через огненную реку Смородину, и там, на той стороне, сворачивают туда, куда тянет. Вверх, в тёплый свет, где пахнет яблоками и мёдом, где птицы поют и цветы цветут круглый год. Оттуда доносится едва слышный перезвон, словно кто-то трогает тонкие серебряные струны, и запах свежего хлеба, и далёкий детский смех. Потому что светлая душа всегда помнит дорогу домой. Потому что Вырий сам её зовёт.

Калинов мост не для живых. Он раскалён, он плавится под ногами, и только души могут ступать по нему, не обжигаясь. А внизу течёт Смородина, огненная река, что отделяет Явь от Нави и Вырия. Говорят, в ней нет воды, один жар и пепел. От неё несёт гарью и серой, и слышен глухой гул, словно там, в глубине, ворочается огромный зверь. Но душам он не страшен. Они проходят сквозь огонь, как сквозь туман.

Хозяйка провожает только тех, кто сам не может найти путь. Тех, кто застрял, запутался, испугался, либо душа так черна, что не хочет сама уходить. Она ведёт их к мосту, туда, где воздух уже дрожит от жара, где слышен гул реки и треск огня, а ветер пахнет пеплом и древностью. Там она останавливается. Дальше не её власть. Душа ступает на мост и идёт. А Ждана смотрит вслед, пока та не скроется в зареве. И ни-

когда не знает, куда она пойдёт на той стороне, вверх или вниз. Это не её дело. Её дело довести.

А над крыльцом, под самой крышей, висят глиняные дощечки, длинные, узкие, на кожаном шнурке каждая, у Жданы они ветру не подчиняются. Ветру дуть, они молчат, буре выть, молчат. Висят тихо, словно и не глина вовсе, а камень. И каждый в виде змеиного хвоста: тонкий, к концу зауженный, чуть изогнутый, точно только что из-под земли высунулся и замер.

Но когда где-то рядом заблудшая душа, та, что не может найти дорогу, мечется меж мирами, плачет невидимо, дощечки оживают. Сами собой покачиваются, стучаются друг о дружку, и звон идёт, тонкий, жалобный, точно не глина поёт, а сама душа голос подаёт. И звон этот слышен не ушами, нутром. Кто жив, вздрогнет, не поймёт, от чего. А мёртвый, что дорогу потерял, услышит и пойдёт на звон, как на свет. К Хозяйке. К дому. К покою.

Говорят, в тихие вечера, когда солнце уже село, а луна ещё не встала, можно услышать, как они звенят над пустой дорогой, значит, ведут кого-то. Значит, Ждана скоро выйдет на крыльцо встречать.

Ждана сидела, перебирала сухие травы: мяту, звербой, полынь горькую, и напевала что-то себе под нос, когда со стороны моста слышались шаги. Торопливые, сбивчивые, нехорошие.

Она подняла глаза.

Женщина в сером платке, сбившемся на сторону, бежала через погост, не разбирая дороги, летела меж домовин, задевала подолом голубцы, и даже мёртвые, кажется, провожали её удивлённым взглядом из своих маленьких окошек.

— Хозяйка, Хозяйка, помоги, — голос рвался, хрипел, тонул в рыданиях. — Бабушка моя... мучается, уйти не может. Третьи сутки маемся, и она мается, и мы с ней. Сердце уже разрывается глядячи... Помоги, Хозяйка...

Женщина добежала до крыльца, остановилась, заозиралась по сторонам и вдруг спросила растерянно:

— А где бабушка, Хозяйка? Где сама-то?

Ждана травы отложила, глянула на женщину и словно внутрь ей заглянула, до самого доньшка, где боль чёрной водой плещется. Вздохнула, поправила косу, перекинула через плечо.

— Встань, — сказала тихо, но так, что женщина сразу затихла и поднялась, только плечи ещё вздрагивали. — Умойся, попей воды. Вон из белого кувшина, справа. Успеем.

Помолчала, глядя куда-то мимо, в сторону берёз.

— Никуда твоя бабушка без меня не денется. Я теперь Хозяйка. Бабушка Марфа ушла за Калинов мост и реку Смородину на прошлой неделе. — Усмехнулась краешком губ и пошла в избу. Зайдя в свой дом, взяв котомку со всем нужным, заранее приготовленную, Ждана пошла за женщиной.

Шли молча. Женщина всхлипывала на ходу, утирала слёзы концом платка, но нет-нет, да и косилась на Ждану, с уко-

ром, с обидой, с тем тяжёлым бабьим гневом, что не выплеснуть, а в себе носить ещё тяжелее. Губы поджимала в нитку, молчала, но молчание это громче слов говорило: «Три дня, три ночи мается, а тебя всё нет. Где ты была, Хозяйка? Почто раньше не пришла?»

Ждана молчала в ответ. Только косу через плечо перекинула, только пальцами нить перебрала, гладкую, прохладную, в руках держать привычную. А что тут скажешь? Не объяснять же, что душа сама не звала. Не её это дело, бежать, покуда не позовут. Не расскажешь ведь, что бывает так: не хочет, душа уходить, держится за живое обеими руками, и никакая сила её не возьмёт, пока сама не отпустит.

Женщина вздохнула тяжело, отвернулась.

А сама, видно, ещё у крыльца отпила из белого кувшина, вон, губы влажные блестят, и дышит ровнее, хоть взгляд всё тот же, острый. Мёртвая вода, на травах настоящая, своё делает: сердце унимает. Слезы не осушает, слёзы сами пройдут. А вот внутри запечатывает, чтоб не разорвалось.

До моста дошли, когда солнце уже за берёзы зацепилось. А там, на той стороне, у самого оврага, телега ждала, лошадь старая, гнедая, понуро стояла, точно тоже знала, зачем приехали. Мужик на облучке сидел, в руках вожжи перебирал, на женщин не глядел.

— В соседнее селение надо, — сказала женщина негромко. И первой пошла на ту сторону моста.

— А что ж раньше-то не сказала, что в соседнее? — про-

молвила Ждана, глядя, как солнце уже цепляется за макушки сосен. — Сядет скоро, пока доедем. А ведьмину душу ловить да отправлять, оно не как просто. Тяжело будет, ежели в темноте.

— Да что ты такое говоришь-то? — всплеснула руками женщина, и в голосе её звякнуло что-то острое, обидное. — Что ж наговариваешь на бабушку? Какая она ведьма? Она всю жизнь как люди жила, и в свой срок родила, и детей подняла, и внуков понянчила...

— А что ж тогда три дня мается? — перебила Ждана негромко, но так, что женщина осеклась на полуслове. — Ты мне вот что скажи: почему душа её ко мне за помощью не приходит? Сама не зовёт, не просится. Держится за что-то. Или за кого-то. Обычные души, они тихие. Их проводи только, они и рады. А ведьмина душа, она... сама знаешь.

Женщина замерла, глядя на Ждану широко раскрытыми глазами. Губы её дрогнули, но ни звука не вырвалось. Она отвела взгляд, в сторону, в землю, в никуда. Потом снова посмотрела на Ждану и вдруг заговорила. Тихо, совсем по-другому. Без того надрывного плача, без укора. Устало заговорила. И словно лет на десять постарела в один миг.

— Догадывалась, — выдохнула она. — Давно. Ещё когда она по ночам шептала, а у нас в доме огонь сам собой гас. И когда скотина в селе дохла ни с того ни с сего. И когда... — женщина махнула рукой, обрывая себя. — Да что там уж теперь. Всё одно не воротишь.

Она помолчала, собираясь с духом. В глазах стояла такая усталость, словно не три дня, а три года она эту ношу тащила.

— Потому и пришла к тебе, Хозяйка. Только ты такой душе помочь можешь. Я... я не осуждаю теперь. Пусть идёт. Пусть хоть там покой найдёт, коли при жизни не случилось.

Голос её дрогнул, но она сдержалась, не заплакала. Только руки теребили край платка, выдавая, чего ей это молчание стоило.

Ждана смотрела на неё долго, не мигая. Потом кивнула, чуть, едва заметно.

— Добро, — сказала тихо. — Раз так, помогу.

В тишине только ветер шелестел берёзами, да лошадь нетерпеливо переступила копытами.

Глава 2

Доехав до села, Ждана спрыгнула с телеги возле дома, где уже толпились люди.

Телега ещё не успела остановиться, а народ уже зашевелился, загудел, как потревоженный улей.

Мужики в тёмных рубахах стояли кучно у плетня, мяли в руках шапки, переглядывались, но ближе не подходили. Бабы жались друг к дружке, кто-то всхлипывал в голос, кто-то причитал шёпотом, закрывая рот концом платка. Двое мальцов, лет пяти-семи, выглядывали из-за материнских подолов, глазищи круглые, белые от страха и любопытства.

Гомонили негромко, тревожно, как перед грозой, когда туча уже навалилась на лес, а грома всё нет и нет, и воздух стоит густой, липкий, дышать тяжело. Слова разобрать было нельзя, только шёпот, только вздохи, только скрип половиц под чьими-то ногами.

А в шёпote том, меж вздохами, проскальзывало:

— Да где ж она? Долго ждать-то?

— Бабку-то Марфу ждём али кого?..

— Марфа на прошлой неделе ушла, говорят...

— А кто ж тогда?..

— Молоденькая, говорят, теперь Хозяйка...

— Да неужто? Такая малая? Глянь, тонкая-то какая, берёзка, ветром сдует...

— И невысокая вовсе, мне бы по плечо...

— А глаза-то, глаза, зелёные, искрятся, словно огоньки в лесу...

— И кожа белая, белая, смотри, прозрачная совсем, как фарфор...

— Седая прядь у виска, вон она, серебрится... Точно Хозяйка, примета та...

— Тсс, вот она...

Но едва Ждана прыгнула на землю и поправила косу, перекинув её через плечо, всё разом стихло.

Шёпот оборвался. Всхлипы прижались к груди. Даже мальцы спрятались, мигом, словно их ветром сдуло. А из косы, из тёмных каштановых прядей, вдруг высунулась зелёная змейка. Высунулась, головой повертела, на людей посмотрела и обратно в косу спряталась, только хвостик наружи оставила, свесился зелёной ниточкой, возле уха.

Народ так и попятился. Кто на шаг, кто на два, кто и вовсе за спины соседские спрятался. Зашептались снова, но теперь уже не тревожно, испуганно. Кто-то дотронулся до оберега на шее, кто-то шепнул имя пращура, кто-то на всякий случай сплюнул через левое плечо.

Люди расступились, сами не глядя друг на друга, словно волна разошлась перед носом лодки. Кто смотрел в упор, не мигая, и в этом взгляде было всё сразу: и надежда, и страх, и давняя, тяжёлая память о том, что Хозяйка просто так не ходит.

Ждана шагнула в проход, и толпа сомкнулась за её спиной, как вода. Только вздох общий, выдох облегчения и нового страха. Ждана взяла котомку в руки и зашла в избу.

Внутри было темно, хоть глаз выколи, хоть руками щупай, хоть кричи, не увидишь. Окна занавешены плотно, тряпицами старыми, чтоб ни лучик, ни взгляд чужой не просочился.

Пахло потом, застарелым, горьким, тем потом, что бывает, когда тело уже не живёт, а ещё дышит. И болезнью пахло, сырой, липкой, той, что изнутри гнилью отдаёт. А поверх всего ещё чем-то... чужим. Не здешним. Таким, от чего у Жданы, Хозяйки, что не одну душу проводила вместе с бабушкой Марфой, пальцы сами собой стиснули лямку котомки так, что побелели костяшки.

Воздух стоял густой, тяжёлый, словно его здесь годами не мешали, не трогали, только впускали по чуть-чуть, чтоб не задохнуться. Казалось, сама изба давит на плечи, стены надвинулись, потолок накренился, дышит в затылок.

И тихо. Так тихо, что Ждана сперва даже не поняла, что не так. В избе, где лежит умирающий, тишины не бывает. Всегда кто-то дышит, кто-то стонет, половица скрипнет, мышь прошуршит. А здесь ни звука. Словно избу набило ватой. Или точно всё живое отсюда уже вышло, а то, что осталось, затаилось и смотрит.

И ещё одно. Ждана не сразу поняла, но потом до неё дошло: по левой руке, от локтя к запястью, словно кто-то провёл пальцем. Медленно. Без нажима. Не холодный, не горя-

чий, никакой. Но рука сама дёрнулась, и лямка котомки впилась в ладонь.

Ждана постояла на пороге, давая глазам привыкнуть, а нутру уняться. Вдохнула глубоко и шагнула внутрь, в эту темень, в этот запах, в это чужое, что уже тянулось к ней оттуда, с лавки, из-под рядна.

Лучинка не теплилась. И не зажигал никто, видно, не до того. Только в углу, где стояла печь, что-то чуть светилось. Не огонь. Ни угли, ни искры. Просто серое, тусклое пятно, как если бы кто-то выдохнул в темноту и дыхание осталось висеть. Ждана глянула, и пятно погасло. А может, и не было его. Может, показалось.

— Что, пришла, старая? — прошамкал голос из полутьмы. Скрипучий, сухой, как берёста на ветру.

— Пришла, пришла, — отозвалась Ждана негромко и, не мешкая, достала из котомки глиняный горшок, тот, что с огнём из своей печи. Поставила у порога, прямо на земляной пол, зажгла лучину, поправила, чтоб ровнее горела. Огонь с горшка, тонко загудел, словно недовольный, но послушный, и сразу же выхватил из сумрака лавку у стены, тёмные половицы, край тяжёлого полога. Теперь душа не убежит. Теперь никуда не денется, покуда Хозяйка не решит.

На лавке, под пологом из старого рядна, лежала бабка. Сморщенная, сухая, как прошлогодний гриб-трутовик. Лицо сплошные морщины, губы ввалились внутрь, беззубый рот шевелился, словно она всё время что-то жевала невидимое.

Или шептала. Руки поверх рядна, жёлтые, костистые, пальцы скрючены, точно всю жизнь кого-то хватали и не отпускали.

На ней была длинная холщовая рубаха, тёмная, с вышивкой на вороте, узоры старые, обережные, но выцвели так, что не разобрать, что там было: то ли ромбы, то ли змеиные головы. Волосы седые, жидкие, разбросаны по мешочку с сеном, холстиной обтянутому.

Глаза у бабки были открыты. В неверном свете огня они блестели чёрным, глубоко, совсем не по-старушечьи. В них ещё сила теплилась. И злость. И насмешка.

— Дождалась, — прошамкала бабка и попыталась улыбнуться. Беззубый рот съехал набок. — А я уж думала, не придёшь, Хозяйка. Побрезгуешь...

И тут она прищурилась, вглядываясь в лицо Жданы. Голос её осёкся, словно поперхнулась.

— Постой... — прошамкала она тише, уже без насмешки. — Ты... не Марфа? Не Марфа пришла?

Ждана шагнула ближе, к самому свету, чтобы бабка разглядела. Поправила косу, седую прядь у виска пальцем тронула.

— Бабушка Марфа за Калинов мост ушла на прошлой неделе. Я теперь Хозяйка. Жданой кличут, — сказала просто.

Бабка замерла. Глаза её, чёрные, глубокие, вдруг стали круглыми, по-детски растерянными. Морщинистые руки дёрнулись, скрюченные пальцы вцепились в рядно, будто

ища опору.

— Много плохого я по жизни делала, много грязного, — прошамкала бабка. Голос её шёл словно не изо рта, а откуда-то из-под земли, из-под той лавки, где лежало её высохшее тело. — Ты не справишься, малая ещё. Не сможешь отправить меня на мост. Вон мои помощники уже на тебя смотрят. С голодом смотрят. Ждут, когда споткнёшься.

Ждана подняла глаза. Сначала она увидела, как бабка улыбается. Беззубый рот растянулся, морщины сложились в что-то довольное, почти детское. А потом уже, под потолком, в самом тёмном углу, ночница. Не спала. Глаза горели жёлтым, мокрым, крылья расправлялись медленно, хищно. Мохнатые, чёрные, с бахромой по краям. Пальцы на крыльях тонкие, длинные, шевелящиеся. Она не бросалась. Она ждала. И Ждана вдруг поняла, что бабка улыбается не ей. Бабка улыбается им.

И тишина. Только бабка дышит, хрипло, с присвистом. А потом к её дыханию добавилось ещё одно. Тихое, частое, будто маленькое. И ещё одно. И ещё. Ждана замерла, вслушиваясь. Дыхание шло не от лавки. Оно шло сверху, с потолка, и снизу, из-под пола, и отовсюду сразу, словно сама изба дышала.

Она повела рукой, чуть, самую малость, но этого хватило. Вместе с движением по избе словно волна прошла, невидимая, ледяная.

А у самого изголовья, прямо над бабкиной подушкой, ко-

пошились бесы. Мелкие, юркие, тени теньями, не разглядеть, только движение краем глаза. Перебирали лапками, переглядывались, скалили пасти без голосов. Глаза у них горели красным, жёлтым, зелёным, будто угли в золе.

И шёпот. Не разобрать слов, только звук, будто кто-то перебирает сухие листья. Шёпот шёл со всех сторон сразу: из-под лавки, из-за печи, из-под половиц. Ждана прислушалась и вдруг поняла: шёпот складывается в слова. Только слова эти не для ушей. Они для чего-то другого, что сидит внутри, под рёбрами, и отзывается на них холодом.

Ждана стояла неподвижно. Сердце колотилось где-то в горле, пальцы, стиснувшие лямку котомки, онемели. Внутри шевельнулось холодное, липкое: первая. Первая чёрная душа. Первая, которую надо проводить одной. Без бабушки Марфы. Без её твёрдой руки, без её голоса, от которого даже мёртвые затихали.

И в тот самый миг, когда страх уже начал подниматься из груди к горлу, в косе что-то шевельнулось. Зелёная змейка, та, что с самого утра вислась в волосах, выползла из-за уха, скользнула по щеке, коснулась прохладной головой виска. И Ждана вдруг вспомнила: бабушка Марфа в последний день, перед тем как уйти за Калинов мост, сама впустила эту змейку в косу. «Не бойся, — сказала тогда. — Она помощница твоя, поддержка. Пока она с тобой, я с тобой».

Змейка свернулась на плече, подняла голову, жёлтые глаза глянули на ночницу, и та попятилась. Чуть-чуть, самую

малость, но попятилась.

Ждана перевела дыхание. Страх не ушёл, он стал другим. Не липким, не холодным, а острым, как лезвие. Таким, что не мешает, а помогает.

Она перевела взгляд с бабки на ночницу, с ночницы на бесов и обратно на бабу. И улыбнулась. Светло, по-своему, будто не её сейчас сожрать собрались, а она просто вспомнила что-то хорошее.

— Пусть смотрят, — сказала тихо. — Я пришла не с ними разбираться. Я пришла за тобой.

Ночница дёрнулась в воздухе, будто её ударили. Бесы зашипели, заметались, но ближе не сунулись, косились на змейку, что лежала на Жданином плече, и не решались.

А Ждана заглянула в котомку. Горшок с огнём остался у порога, она его даже не трогала, он сам нёс свою службу, черту держал. Достала нить, спряденную против солнца, кривую, неживую, тёмную даже на вид. Достала пучок полыни, сухой, горький, прошлогодний. Достала осиновый кол, короткий, заточенный, с ладонь длиной. Разложила на лавке, у самого края, чтоб под рукой было.

И только когда всё было готово, подняла глаза на ночницу, что всё ещё кружила под потолком, но ближе не лезла. Чёрный кувшин, с мёртвой водой из Нави, чистой, неразбавленной. Поставила прямо на пол, у изголовья, чтоб душа видела, на всякий случай.

Всё.

Ждана выпрямилась, оглядела разложенное: нить, полынь, кол, чёрный кувшин. Всё на месте. Всё готово. Только пальцы всё ещё чуть подрагивали, и змейка на плече это чувствовала, терлась головой о щёку, успокаивала.

— Ну, бабка, — сказала Ждана тихо, но в тишине этой слово прозвучало как выстрел. — Готова? Я да.

Бабка не ответила. Она зашлась. Тонко, визгливо, по-порсячи, но хуже, чем порсячий визг. Так кричит душа, когда её выдирают из тела раньше времени. Так кричит тьма, когда чувствует, что сейчас её тронут. Визг метался по избе, бился о стены, ввинчивался в уши, и от него у Жданы заломило в висках, а по спине пробежал холодок, будто кто-то мёртвый пальцем провёл по позвоночнику.

В тот же миг ночница сорвалась с места. Чёрная, мохнатая туча упала с потолка, крылья распахнулись, не закрывая свет, а наоборот, заслоняя его собой, пожирая его. Она не летела, плыла по воздуху, медленно, хищно, и в каждом её движении читалось: сейчас бросится, вцепится в лицо, в горло, будет душить, пока хребет не хрустнет, пока глаза не вылезут из орбит. Глаза у неё горели мокрым, и в этом свете проступали детали, которых раньше не было видно: пасть, полная мелких, частых зубов, и пальцы на крыльях, тонкие, длинные, шевелящиеся.

А по полу, по стенам, по лавкам заматались бесы. Их стало больше, или просто Ждана увидела их всех сразу? Они лезли из щелей, из-под половиц, из бабкиного рта, из её ушей,

мелкие, юркие. Шныряли у самых ног, цеплялись за подол, норовили забраться под рубаху, укусить, защекотать до беспамятства, до крика, до смерти. Зубы у них были острые, частые, как у щук, и пахло от них падалью.

Воздух в избе загустел, стал липким, как старая кровь. Дышать и то трудно. Казалось, сама изба давит на плечи, стены надвигаются, потолок опускается, чтобы раздавить, смять, стереть в порошок.

Горшок с огнём у порога мигнул, пламя дёрнулось, чуть не погасло, но устояло. Взметнулось снова, отсекая путь к двери, не давая тварям подступить со спины.

Ждана стояла неподвижно. Сердце колотилось где-то в горле, пальцы онемели. Змейка на плече шевельнулась. Ждана перевела дыхание и шагнула вперёд, взяла нить с лавки, и в тот же миг пальцы свело судорогой. Нить выскользнула, упала на пол.

И тогда бабка засмеялась. Тихо, скрипуче, беззубым ртом. Не над Жданой, над нитью. Над тем, что та лежит на полу, у её ног, и не может подняться. Смех был тонкий, как паутина, и от него по спине шёл холод.

Бесы взвизгнули радостно, кинулись к ней. Ждана успела только прижать руку к груди, чувствуя, как по венам разливается холод. Змейка в косе забилась, зашипела. И в этом шуме, шёпот, цоканье, смех, шипение, Ждана вдруг услышала свой собственный голос. Где-то внутри. Тихо, но твёрдо: «Подними».

И она нагнулась, рванула нить с пола, не глядя, наощупь, сжимая кулак так, что ногти впились в ладонь. Выпрямилась. Подошла к бабке. Разогнула скрюченные пальцы, они хрустнули, не желая поддаваться, но Ждана не отпустила. Вложила нить в ладонь.

— На, держи. Это твоё. Всё, что нажила, с собой понесёшь. Кровью брала, кровью и отдашь.

Нить сама поползла по ладони, обвилась вокруг запястья, затянулась узлом, тугим, мёртвым, намертво. Бабка захрипела, дёрнулась, но поздно. Нить уже сделала своё дело.

Бесы завизжали, заметались пуще прежнего, почуяли, что хозяйка уходит.

Ждана взяла осиновый кол. Короткий, заточенный, с ладонь длиной. Взяла не как оружие, как черту, как нож, режущий само пространство.

Провела им в воздухе, от изголовья к ногам, от ног к порогу, три раза. И с каждым взмахом воздух лопался, расступался, и в эти разрывы выло что-то из-за грани.

— Осина-матушка, древо порубежное, — голос Жданы звучал ровно, без дрожи. — Ты меж мирами стоишь, корнями в Навь уходишь, ветвями Явь кроешь. Отдели своё от чужого. Что нажито кровью, кровью и сгинет. Что прикормлено силой, силой и рассыплется. А душу отпусти. Отпусти, сказала!

Последние слова она не крикнула, рыкнула. По-звериному, по-нездешнему. И бесы шарахнулись от невидимой чер-

ты, забились по углам, но переступить не смели. Кол резал пространство, ставил стену, которую им не пройти.

Ночница под потолком забилась, захлопала крыльями, но тоже не смела опуститься ниже, косилась на осину в Жданиной руке и пятилась, пятилась, пока не вжалась в самый тёмный угол.

Ждана отложила кол, взяла пучок полыни, взмахнула ей, но дым не пошёл вперёд, как должен был. Он закрутился на месте, забился, и бесы, почуяв слабинку, бросились на него, рвали зубами, гасили. Ждана шагнула, сунула пучок прямо в огонь горшка, пламя взметнулось, обожгло пальцы, но дышнуло наконец горьким, густым, и бесы шарахнулись, заверещав, но не все. Один, самый наглый, вцепился ей в подол, полез вверх, и Ждана почувствовала, как ледяные пальцы сжимают щиколотку. Она ударила по нему ногой, он разлетелся пылью, но холод остался. Она окурила бабушку, с головы до ног, не пропуская ни локтя, ни пятки. Дым вился, полз по телу, забивался в уши, в ноздри, в складки одежды. Там, где проходил дым, бесы отступали, таяли, терялись в темноте. Там же, где оседала полынная горечь, кожа бабушки становилась светлее, будто сходила с неё старая, въевшаяся чернота, будто сама смерть умывала её перед дорогой.

— Полынь-травка, горькая вдова, — шептала Ждана в такт движению. — Выкури чужое, выдуй гнилое, выжги лишнее. Чтоб душа как стекло, чтоб дорога как полотно, чтоб никто не держал, ничто не тянуло. Чтоб ушла, сказала!

Дым взвыл. Бросился на бесов, завертел их, разметал по углам.

Бесы завизжали, тонко, отчаянно, и бросились врассыпную. Но Ждана даже не глянула в их сторону. Она вернулась к нити, что всё ещё лежала на ладони, обвивая запястье. Взяла тлеющий стебель полыни, поднесла к нити, и та вспыхнула.

Без огня почти. Синеватым, холодным пламенем. Горела медленно, тлела, рассыпалась пеплом прямо в руке. И когда последний узел лопнул, бабка вскрикнула.

Не по-человечески. Так кричат души, когда рвётся последняя нить, державшая их у живых. Так кричит пустота, когда в неё падают.

Ждана нагнулась ближе. Голос упал до шёпота, страшно-го, шипящего, как змея перед броском.

— Иди.

Не оглядывайся.

Не дыши.

Не живи.

Там, куда идёшь,

ни крови, ни имени,

ни крика, ни памяти.

Только тьма.

Только покой.

Только... ничего.

Бабкино тело на лавке дёрнулось в последний раз и замер-

ло.

А над ним, в воздухе, соткалась из дыма и пыли прозрачная фигура. Бабка. Только не старая, не сморщенная, а та, какой была когда-то давно, в молодости. Стояла, смотрела на Ждану долго, не мигая.

Губы её, молодые, полные, вдруг сложились в улыбку. Широкую, почти детскую, почти счастливую. Но глаза остались прежними. Чёрными, глубокими, старыми. Они не улыбались. Они смотрели. И в этом взгляде было что-то, от чего Ждана почувствовала, как по спине, от затылка вниз, прошёл холод. Не страх. Хуже. Предупреждение.

— Марфа... — выдохнула она чуть слышно. — За мной... пришла..

И в тот же миг ночница, та, что всё ещё билась под потолком, вдруг затихла. Крылья сложились. Глаза погасли. Она стала пылью. Просто осыпалась вниз, серой, сухой, и её больше не было. А бесы, те, что копошились у изголовья, бросились врассыпную. Не к Ждане. Не к нити. Они бежали от души. От молодой бабки. Словно она была для них опаснее, чем Ждана. Словно они знали: хозяйка уходит, и они остаются ни с чем.

В избе стало тихо. Так тихо, что слышно было, как где-то за стеной женщина всхлипнула, и звук этот донёсся будто сквозь вату, будто из другого мира.

Глава 3

— Подожди пару минут, — сказала Ждана негромко, но твёрдо. — Сейчас провожу тебя. Только о теле позабочусь. Теперь оно лакомый кусочек для нечисти: чует пустоту, и каждая тварь норовит вселиться, пока душа не ушла.

Она взяла осиновый кол, короткий, заточенный, ещё тёплый от её ладони. Не для удара. Для другого. Приставила остриём к сердцу бабки, туда, где под ветхой кожей уже не билось, но ещё теплилось что-то, не желающее отпустить. И надавила, чуть, самую малость. Кол вошёл сам. Без усилия, без хруста, словно тело само приняло то, что должно.

Только пальцы бабки, те, что лежали поверх рядна, скрюченные, жёлтые, вдруг дёрнулись. Все сразу. Сжались в кулаки и разжались. Медленно. Словно тело прощалось само с собой. Или словно отдавало что-то. Ждана отдёрнула руку, но кол уже сидел в груди, тёплый, живой, и не двигался. А бабкины пальцы снова разжались. И замерли.

Потому что не Жданина сила здесь работала. А право. Право Хозяйки. Право той, кто провожает. И закон, что старше любой силы: осина не берёт, она принимает. Кол не душу очищал, тело сторожил. Чтобы, когда душа уйдёт, нечисть не вселилась, не заняла опустевшую плоть, не начала новую игру в старой шкуре.

Осина приняла в себя всё липкое, что ещё держалось в

мёртвых пальцев, в груди, в глазах. Забрала и замкнула. Теперь бабкино тело просто тело. Пустой дом, запертый до прихода тех, кто похоронит. Бесы, что ещё жались по углам, взвизгнули и шарахнулись прочь, рассыпаясь тьмой. В избе будто светлее стало, или просто ушло то чёрное, что давило на плечи.

Ждана перевела дух. Достала из котомки две медные монетки, старые, тёмные, с истёршимся узором. Склонилась над бабкой, осторожно, двумя пальцами, свела набрякшие веки.

— Глаза тебе закрываю, — проговорила тихо, по обычаю предков. — Чтоб не смотрели вослед, чтоб не искали никого, чтоб не маялись. Там, куда идёшь, глядеть не надо, там свет свой, там всё видно и без глаз.

Положила монетки поверх закрытых век, тяжёлые, чтоб не открылись ненароком, чтоб не подглядывала нечисть из тёмных углов. И сама себе удивилась: спокойно так на душе стало. словно бабка, хоть и ведьмой была, а теперь по-людски уйдёт. Как все. Как надо.

Ждана выпрямилась, перевела дух. Взяла пучок полыни, сухой, горькой, догоревшей почти до тла, но ещё хранящей силу. Взмахнула им и разрежала пространство.

Не воздух, именно пространство. Там, где прошёл дымный след, реальность дрогнула, пошла рябью, словно вода в омуте перед грозой. Стены избы качнулись, поплыли, истаяли, и вместо них открылось иное.

Запахло гарью и сыростью. Потянуло жаром, сухим, смоляным, от которого волосы на руках встают дыбом, но не обжигает. Потому что этот жар не для живых.

Перед Жданой, прямо из пустоты, проступила река Смо-родина. Не вода в ней текла, огонь. Жидкий, смоляной, чёрно-багровый, он клочкотал в глубине, плевался искрами, вздыхал тяжело, как зверь. Пламя лизало крутые берега, взметалось выше человеческого роста, и в том пламени чудились лица, кричащие, стонущие, тянущие руки вверх, но не смеющие высунуться из огненной бездны.

И Ждана услышала. Не рёв огня, не треск моста. Голо-са. Тонкие, высокие, будто детские. Они звали. Не по име-ни, просто звали. Тянули руки из пламени. Много. Слиш-ком много. А потом один голос, самый тонкий, самый тихий, вдруг засмеялся. Тихо, довольно. Как будто узнал.

А через реку Калинов мост.

Не деревянный, калёный. От жара реки он накалился до-красна, дышал зноем, но стоял крепко, вековечно. Перила его, если приглядеться, были сложены из костей, человеческих, звериных, а может, и таких, каких и названия нет. Мост пуль-сировал, словно живой, и каждый, кто ступал на него, чув-ствовал, как жар поднимается от пяток до макушки, выжигая всё лишнее, всё наносное, всё, что душа нажила грешного.

За мостом, в багровом мареве, угадывалась развилка. Од-на дорога уходила вниз, во тьму, в холод, в Навь, туда, где чёрные души ждали суда. Другая вверх, в свет, в Вы-

рий, но свет тот был далёким, тихим, и души сами знали, куда им.

Ждана обернулась к бабкиной душе. Та стояла рядом, прозрачная, лёгкая, уже почти не ведьма, почти не та, что минуту назад визжала и звала бесов. Просто душа. Усталая, наконец-то готовая.

— Иди, — сказала Ждана тихо, но голос её перекрыл и гул огня, и треск моста, и далёкие стоны из реки. — Видишь мост? Это Калинов мост. По нему все проходят. И ты пройдёшь.

Душа дрогнула, глянула на Ждану, вопросительно, испуганно.

— Не бойся, — Ждана чуть улыбнулась уголками губ. — Живым на него нельзя, сгорят. А ты уже не живая. Ты душа. Для тебя он дорога. Ступай смело.

Она помолчала, глядя, как пламя внизу мечется, лижет устои моста.

— Дойдёшь до конца, там развилка. Куда тебе надо, сама почувешь. Вниз в Навь, вверх в Вырий.

Пламя в реке Смородине вздохнуло, и Ждана увидела на миг лица. Тех, кого бабка загубила. Они не кричали. Смотрели. Ждали. И когда душа ведьмы ступила на мост, огонь внизу дрогнул, то ли узнал, то ли приготовился. А тот голос, тонкий, тихий, снова засмеялся. Ближе. Будто подошёл. Будто ждал её. Именно её.

Ждана отвела глаза. Не её это было, смотреть, как прини-

мают чужую душу по ту сторону.

— Иди, — повторила Ждана. — Я за тобой закрою. Там уже сама.

Душа пошла, медленно, но ровно. Пламя в реке выло, тянулось к ней, но достать не могло. Мост нёс её над огненной бездной, как нёс всех до неё и будет носить после.

Когда фигурка растворилась в багровом мареве, где-то на середине, Ждана взмахнула полынью в последний раз.

— Закрываю, — шепнула. — Ступай с миром.

Пространство дрогнуло, схлопнулось, и вместо реки, моста и развилки снова стали стены избы, тёмные, бревенчатые, с лучиной в углу и бабкиным телом на лавке.

Тихо стало. Только змейка в кармане шевельнулась, высунула голову, глянула на Ждану жёлтыми глазами и снова спряталась. Мол, всё хорошо. Мол, справилась, Хозяйка.

Ждана вздохнула тяжело, глубоко, так, что грудь поднялась и опустилась, словно она только что гору с плеч скинула. Устала. Не тело, душа устала. Там, внутри, всё ещё ныло от чужого, липкого, что пришлось вычищать.

Молча собрала атрибуты: нить обгоревшую, рассыпавшуюся пеплом, завернула в тряпицу, чтоб не рассыпать по дороге; полынь догоревшую, тёплую ещё, положила в котомку отдельно. Огонь в горшке притушила, прикрыла крышкой, пусть дышит, но не горит попусту.

Всё. Можно уходить.

Ждана шагнула за порог и только там, в сенях, привали-

лась спиной к бревенчатой стене. Руки тряслись. Не от страха, уже от того, что кончилось. Она смотрела на свои ладони: на правой, той, что держала нить, осталась тонкая красная полоса, словно нить сама врезалась в кожу. Будет болеть. Будет помнить. Змейка вылезла из косы, скользнула по запястью, легла на это место, прохладная, живая. «Знаю, — шепнула ей Ждана. — Знаю, маленькая. Справилась я».

Люди толпились. Родственники, соседи, кого принесло горе или любопытство. Все сидели тихо, придавлено, как мышцы под голиком. Кто на лавках, кто на полу, кто просто у стенки стоял, подпирал плечом бревно. Ни звука, ни шороха, только дыхание, только взгляды, устремлённые на неё, едва она показалась в проёме.

Ждана обвела всех глазами. Усталыми, но твёрдыми. Такими, от которых хочется в пол провалиться, если что не так.

— Всё, — сказала негромко, но в тишине слово ударило, как колокол. — Ушла ваша бабушка. Туда, куда должно.

По толпе прошёл вздох, общий, облегчённый и испуганный одновременно. Кто-то всхлипнул, кто-то прижал руку к сердцу, кто-то шепнул имя пращура, обводя взглядом чуры в красном углу. Слава предкам, кончилось.

— Тело на лавке. По всем канонам приготовьте к погребению, — голос Жданы стал твёрже, приказным. — Монеты на глазах не снимать. Чтоб глядеть не смела туда, откуда ушла. И кол... — она выдержала паузу, давая каждому впитать следующее слово. — Кол не трогать. Никому. Если не

хотите проблем.

Кто-то из баб тихонько ахнул, мужики переглянулись, но никто не посмел спросить: «А каких проблем?» И так ясно, таких, от которых Хозяйка не спасёт, если сами полезет.

— Зашьёте в саван, как есть, — добавила Ждана уже спокойнее. — Осина теперь с ней. Её доля. Не мешайте.

Змейка из-за уха высунулась, глянула на людей жёлтыми глазами и спряталась обратно. По толпе снова пробежал холлодок.

— Всё. Я пойду, — сказала Ждана и шагнула к двери.

Но у самого порога обернулась:

— Шесть седмиц не поминайте лишним словом. Путь у души долгий, не мешайте ей. Что было при жизни, там, в Нави, сочтётся. А вы тут живите. Она теперь не ваша.

— Хозяйка...

Ждана уже ступила за порог, в свет нарождающегося утра, когда сзади раздался голос. Тихий, усталый, но тёплый.

Она обернулась. Из двери выглядывал мужичок, нестарый ещё, но уже битый жизнью, с бородёнкой жидкой и глазами виноватыми. В руках мял шапку, мял, теребил, словно не знал, куда руки деть.

— Хозяйка, — поклонился он, в пояс, неловко, от души. — Устала ты. Всю ночь с нашей бабкой маялась... Давай хоть травяного чаю попей. Или взвару какого. Посиди малость, сил наберись.

Ждана хотела отказаться. Во рту горечь полынная, гла-

за слипаются, и до дома не близко. Но мужичок смотрел так, словно от её согласия зависело что-то важное. Не просто вежливость, потребность. Сделать хоть что-то. Отблагодарить. Унять дрожь в руках, что у всех там, в избе, после этой ночи никак не проходила.

— А после, — добавил он торопливо, видя, что она молчит, — я тебя отвезу. Не пешком же тебе, Хозяйка. Утро только встаёт, дорога дальняя, а ты всю ночь не спала. У меня лошадь смиренная, довезёт, и не заметишь, как у своего крыльца окажешься.

Змейка в косе шевельнулась, высунула голову, глянула на мужичка жёлтыми глазами. Он сглотнул, но не попятился. Стоял, ждал.

Ждана поглядела на него, на чистое утреннее небо, на розовые облака над селом. Вздохнула и улыбнулась. Устало, светло.

— Взвар это хорошо, — сказала тихо. — Только недолго. Мне ещё до своего погоста добираться, а там змеи, поди, заждались. И зелёная моя есть просит, всю ночь со мной промучилась, голодная небось.

Погладила змейку по голове, та довольно прикрыла глаза и спряталась обратно в косу.

Мужичок просиял, засуетился, распахнул дверь шире:

— Проходи, Хозяйка, проходи. Сейчас бабы соберут чего боги послали. Ты присядь пока, отдохни.

И Ждана шагнула обратно, в тепло, в людскую суету, в

запах свежего хлеба и трав, который уже плыл из открытой двери.

И тут Ждана заметила. За спиной мужичка, в глубине избы, где толпились люди, тени лежали на стенах, на полу, тянулись, повторяли за хозяевами. У всех. Кроме одной.

У парня молодого, что сидел в углу, у самой печи, сгорбившись, руки на коленях, тень на стене двигалась не так. Парень сидел смирно, голову опустил, пальцы сцепил, не шевелился. А тень его, медленно, будто сама, подняла руку. К лицу. К глазам. Пальцы длинные, тонкие, шевелящиеся. Тень делала то, чего парень не делал. Тень жила.

Ждана глянула на парня. Он будто почувствовал, вздрогнул, поднял было голову, но глаза спрятал. Отвёл. В пол. В сторону. Куда угодно, только не на неё. И в этом было что-то такое, от чего Ждана вдруг поняла: он знает. Знает, что у него за спиной. Знает, что тень живёт своей жизнью. И знает, чьё это. И не боится. Ждёт. Будто уже решил. Будто сам так захотел.

А тень, будто почувствовав её взгляд, замерла.

Ждана постояла. Посмотрела на парня. На его опущенные глаза. И отвела взгляд.

Не её это дело. Душа ушла. А коли человек сам принял, да ещё и знает, что принял, это уже не проводы. Это выбор. А за чужие выборы Хозяйка не отвечает. Не её работа.

Попив и поев, Ждана почувствовала, как тяжелеют веки. Тело налилось усталостью, той глубокой, когда уже не спит-

ся, а проваливаешься куда-то в мягкое, тёплое, беспамятное.

Мужичок помог ей забраться в телегу, подстелил сена, душистого, сухого, ещё с прошлого года. А сверху накрыл рогожей. Грубой, плетёной из мочала, пахнувшей дорогой и ветром. Такими на Руси исстари укрывали товары в дороге.

— Спи, Хозяйка, — донёсся будто сквозь вату голос мужичка. — Довезу, не бойся.

Ждана и не боялась. Только прижалась щекой к сену, поправила косу, чтоб змейку не придавить, и закрыла глаза. Телега качнулась, тронулась, закрипела по утренней дороге, и сон пришёл сразу, без снов, без шорохов, без той чёрной липкости, что ещё недавно давила на плечи.

Очнулась от того, что кто-то тихонько трясёт за плечо.

— Хозяйка... Хозяйка, приехали.

Ждана открыла глаза, приподняла голову. Перед самым носом стояла её изба. Берёзы вокруг, два кувшина у крыльца, глиняные дощечки над дверью, тихие, не звенят, значит, всё хорошо, ни одна душа не заблудилась, пока её не было.

Змейка в косе шевельнулась, высунула голову, глянула на мужичка жёлтыми глазами и снова спряталась.

— Спасибо, — сказала Ждана, садясь и скидывая с плеч рогожу. Голос хриплый со сна. — Довёз, не растряс. Добрый ты человек.

Мужичок засмутился, замялся, шапку снова затеребил:

— Да что ты, Хозяйка... Это тебе спасибо. Бабку нашу проводила... Мы теперь век должники.

Ждана спрыгнула с телеги, поправила косу, перекинула через плечо. Глянула на небо, солнце уже поднялось, день обещал быть ясным.

— Иди с миром, — сказала она мужичку. — Я своё дело сделала. Дальше вы сами.

И шагнула к крыльцу, к своим берёзам, к тишине, домой.

Глава 4

Позавтракав пшённой кашей да куском свежего ржаного хлеба с травяным чаем, от которого внутри разлилось тепло и спокойствие, Ждана поднялась из-за стола. Хорошо поелось сегодня. Легко. Словно и не было тяжёлой ночи, словно не таскала она чужую душу из липкой темноты.

У крыльца пригrelась на солнышке змейка, зелёная, с жёлтыми глазами, развернулась во всю длину, греет своё пузико. Увидела Ждану, лениво приоткрыла один глаз и снова закрыла: мол, я тут, я рядом, но греться буду, ты уж не мешай.

— Травинка, лодырь ты зелёная, — ласково сказала Ждана, присаживаясь на корточки и проводя пальцем по её голове.

Змейка опять приоткрыла глаз, хитрый, жёлтый, и снова закрыла.

Она пошла в сени за корзиной. Корзина стояла на своём месте, плетёная, ивовая, с крышкой из бересты, чтоб ничего не выпадало и не мялось. Ждана сняла её с колышка, проверила, не прохудилась ли где, всё ладно, можно идти.

А потом повязала фартук. Льняной, светлый, по подолу обережная вышивка. Вместе с бабушкой Марфой вышивала: каждый стежок не просто так, каждый узор защита. Ромбы с точками, поле засеянное, плодородие, чтоб земля давала,

а руки брали. Концы с птицами, весточки от предков. А по карману, самому большому, что на животе, змеиный след, волнистой линией, чтоб свои узнавали и чужие обходили.

Ждана огладила фартук ладонями, проверила, ровно ли лежит. И в карман, в самый глубокий, положила пучок полыни. Сухой, горькой, прошлогодней.

— На всякий случай, — подмигнула она деревьям. — Лес-то большой. Всякое бывает.

Только руку из кармана вынула, чувствует: кто-то в карман уже лезет. Опустила глаза, а там змейка голову высунула, жёлтыми глазами хлопает: «Греться потом буду. Возьми с собой!»

Устроилась там, свернулась, хвостик наружу свесила, зелёной ниточкой из кармана.

— Ладно уж, пошли, — вздохнула Ждана, пряча улыбку. Змейка довольно мотнула головой.

Ждана поправила косу, перекинула через плечо, подхватила корзину и шагнула с крыльца. Обогнула избу и оказалась лицом к лицу с лесом. Сосны стеной стояли сразу за избой, тёмные, смоляные, в полный голос шумели. А за спиной, если обернуться, оставался погост: домовины, голубцы, старая берёзовая роща, что отделяла её жильё от мира живых.

— Ну что, — сказала Ждана лесу, — принимай гостей. Я по делу, ненадолго. С черемшой договорилась, с крапивой тоже. Ты не шуми сильно, ладно?

Лес в ответ качнул вершинами, то ли согласился, то ли предупредил: смотри у меня, Хозяйка, хоть ты и своя, а без спросу не балуй.

— Помню, помню, — усмехнулась Ждана и шагнула под сень сосен, туда, где пахло хвоей, прелой листвой и весенней молодой жизнью.

Змейка в кармане довольно вздохнула и высунула нос: смотреть, нюхать, наслаждаться.

Набрав почти полную корзину (черемша, сныть, крапива, да ещё и молодых побегов папоротника сверху прихватила), Ждана уже подумывала, где бы присесть да перекусить, как вдруг услышала. Крики. Визги. Рычание. Не за собой, там, чуть дальше за орешником, где начиналась настоящая чащоба. Тёмная, глухая, куда даже она, Хозяйка, без нужды не совалась. Там уже не берёзы с соснами, там бурелом, там валежник, там звери живут по своим, не людским законам.

Змейка в кармане взметнулась, высунула голову, зашипела тревожно.

— Слышу, — бросила ей Ждана и, не раздумывая, кинулась в ту сторону.

Орешник хлестал по лицу, цеплялся за корзину, царапал руки. Ветки, что ещё недавно казались безобидными, вдруг стали врагами, норовили выцарапать глаза, залепить по щекам, не пустить. Ждана зажмурилась на миг, прорываясь, и в тот же миг ветка чиркнула по скуле, оставляя горячий, саднящий след.

— А чтоб тебя леший побрал! — выдохнула Ждана сквозь зубы, когда ветка в очередной раз хлестнула по щеке. — Или кикимора в крапиву уронила...

Но не остановилась. Выскочила на небольшой пригорок и замерла. Внизу, в ложбинке, в клубке сплелись тела. Серые, чёрные, мелькающие, не разобрать, где кто. Только рык, только хрип, только треск веток под тяжёлыми телами. Волки. Двое. Нет, трое. Матёрые, лобастые, с жёлтыми глазами, что горели в полумраке чащобы. Они уже не дрались, они рвали. А в центре, прижатый к земле, отбивался крыльями и клювом ворон. Большой, чёрный, чернее самой ночи. Один против троих, и не сдавался.

— А ну! — крикнула Ждана так, что у самой в ушах зазвенело.

Волки замерли. Разом, словно кто-то дёрнул их за невидимые верёвки. Самый крупный, вожак, поднял окровавленную морду. Из пасти капала кровь. Глаза у волка были жёлтые, страшные, и в них плескался голод, который словами не унять. Он зарычал, низко, предупреждающе. Мол, уйди, человек. Не твоё это.

Ждана шагнула вниз, прямо в ложбину. Корзину бросила на траву, змейка из кармана высунулась по самый хвост, зашипела, тонко, зло.

— Не смей, — сказала Ждана тихо, но так, что голос её прокатился по поляне, ударился о деревья и вернулся эхом. Волк дёрнул ухом. Не понял. Или не захотел понять.

— Отпусти того, кого держишь, — Ждана шагнула ещё ближе. Руки пустые, ни кола, ни полыни, только вышивка на фартуке светится, только змейка шипит у живота. — Я сказала.

Вожак замер. Смотрел на неё, не мигая. Пасть всё ещё оскалена, кровь капает на траву. Мышцы под шкурой перекатывались, то ли к броску готовился, то ли боролся с чем-то внутри себя. И отступил.

Шаг назад. Ещё шаг. Волки за ним, нехотя, с рыком, но попятились, освобождая место. На земле, в примятой траве, остался лежать чёрный комок. Ворон, в рваных перьях, весь чёрный комок крови и боли. Ждана присела рядом, осторожно, боясь дышать.

— Ну, красавец, — шепнула она тихо. — Сейчас, сейчас...

Приоткрыла крышку корзины и замерла. В корзине, доверху полной, лежала черемша, сныть, крапива, молодые побеги папоротника. Всё, что собирала, всё, о чём просила лес, всё, за что благодарила каждую травинку.

— Простите, родимые, — шепнула она зелени. — Не по своей воле я вас. Жизнь важнее.

И, подхватив передник обеими руками, высыпала туда всё, что было в корзине. Травы, листья, побеги, всё легло в подол, прижалось к фартуку с бережной вышивкой, к змеиному следу на кармане. Корзина опустела.

Теперь можно. Ждана подсунула ладони под ворона, медленно-медленно, чтобы не сделать больше. Пальцы дрогну-

ли, когда нащупали сломанную лапу, крыло, но она только зубы сжала и продолжила. Взяла на руки, бережно, как птенца, как что-то очень хрупкое и очень дорогое. И опустила в корзину, на самое дно, на прутья, на прохладу.

Ворон приоткрыл мутный глаз, глянул на неё и задышал хрипло, тяжело.

— Потерпи, маленький, потерпи, — зашептала Ждана, прикрывая корзину крышкой, но не до конца, чтоб воздух был, чтоб не задохнулся. — Сейчас мы быстренько домой дойдём. Ты только потерпи.

Змейка в кармане высунулась, глянула на корзину, на Ждану и молча спряталась обратно. А лес расступался перед ней, словно чуял: сейчас не до него. Сейчас Хозяйка спешит. Спешит спасти.

Передник оттягивал руки, зелень пахла горько и свежо, корзина покачивалась на ходу. А Ждана всё шептала и шептала, не замечая, что по щеке вместе с потом течёт кровь из новой царапины, что ноги подкашиваются.

Глава 5

Дойдя до крыльца и аккуратно поставив на него корзину, Ждана первым делом сняла фартук. Разложила его в тени, под берёзами, -бережно расправила, чтоб не помялась зелень, чтоб черемша и сныть не подвяли на солнце. Передник с обережной вышивкой лёг на траву, как скатерть-самобранка, и травы в нём согласно затихли, будто поняли: дождутся, никуда не денутся.

А Ждана уже склонилась над корзиной. Осторожно, боясь дышать, запустила руки внутрь. Ворон лежал на дне. Глаз его, мутный, но всё ещё живой, глянул на Ждану -и в этом взгляде было столько боли и столько доверия, что у неё самой сердце сжалось.

-Тихо, тихо, родимый, -зашептала она, подхватывая его снизу, под крылья, под лапы, стараясь не касаться сломанного. -Сейчас, сейчас... Я тебя вытащу. Ты только не дёргайся, слышишь? Я аккуратно.

Ворон не дёргался. То ли сил не было, то ли понял, что плохо не будет.

Ждана вынула его из корзины -медленно, бережно, как великую драгоценность. Прижала к груди, прикрыла ладонями. Пёрышки у него были тёплые, пахли кровью и лесом, и сердце билось часто-часто, как у птенца.

-Ну вот, -выдохнула она, присаживаясь прямо на крыльцо,

с вороном на руках. -Дома мы. Теперь всё хорошо будет. Я тебя вылечу, вот увидишь.

Змейка вылезла из кармана, свесилась вниз головой, разглядывая чёрного великана.

Положив ворона на сено, что лежало на крыльце, Ждана первым делом потянулась к белому кувшину. Тому, что справа, на солнышке. Для живых. Отлила в глиняную плоскую немного -самую малость -и разбавила ключевой водой из бадейки, что стояла тут же, у крыльца. Чтоб не обжечь, чтоб мягче вошло. Пальцы её, ловкие и тёплые, принялись за дело.

Сначала -промыть. Осторожно, с тихим шепотом, смывала она с чёрных перьев запёкшуюся кровь и лесную грязь. Вода из белого кувшина делала своё дело: раны очищались на глазах, края их светлели, переставала сочиться сукровица. Ворон вздрагивал, когда пальцы касались больного места, но терпел -только глаз косил на Ждану, благодарно и доверчиво.

Потом -править. Самые страшные места: сломанная лапа, вывернутое крыло. Ждана закусил губу, сосредоточилась. Пальцы сами нащупали, где кость разошлась, где сустав вышел из суставной ямки. Короткое движение -хруст, от которого у самой сердце оборвалось, но ворон даже не вскрикнул. Только вздохнул тяжело и замер, позволяя делать с собой всё, что надо.

Ждана вправила переломы, расправила крыло, уложила

кости как надо. Рядом уже лежали заготовленные лучинки -тонкие, ровные, из сухого дерева. Она приложила их к лапе, к крылу, и туго перевязала всё чистой холстиной, нарезанной полосами. Узлы затянула -не туго, но крепко, чтоб не съехало, чтоб держало, пока кости срастаются.

Ворон лежал на сене -чёрный, перевязанный, похожий на какую-то диковинную куклу, но живой. Грудь его вздымалась, дышать стало ровнее, боль утихала.

-Ну всё, красавец, -выдохнула Ждана, вытирая пот со лба. -Самое страшное позади.

И тогда она взялась за чёрный кувшин. Тот, что слева, что для душ.

Отлила в ту же плошку -всего несколько капель, на доньшко. И разбавила щедро -куда щедрее, чем первый раз, прибавив отвар трав. Чтоб мёртвая вода не забрала раньше времени, а только приняла боль, усыпила её, убаюкала. Всё-таки ворон -живой, ему сила Нави нужна капелька, не больше.

Опустила палец в воду, набрала каплю и поднесла к вороньему клюву. Капнула -раз, другой, третий.

Ворон вздрогнул, приоткрыл клюв, принимая. И вдруг глаза его -мутные, усталые -сами собой закрылись. Не в беспомощности, не в смерти -в глубоком, целительном сне, какой бывает только у тех, кому позволили забыть о боли.

Грудка его вздымалась ровно, глубоко. Крыло и лапа больше не дёргались. Он спал.

Ждана сидела рядом, смотрела на него, и в груди разливалось тепло.

-Спи, маленький, -шепнула она. -Пока спишь -боль не тронет. Проснёшься -легче будет.

Змейка вылезла из кармана, сползла по руке, устроилась на краю крыльца и тоже уставилась на спящего ворона. Потом подняла голову на Ждану, жёлтые глаза мигнули: «Ну как?»

-Выживет, -ответила Ждана. -Должен выжить.

Глава 6

Ворон проспал двое суток. Ждана не тревожила его -только потихоньку, крадучись, меняла повязки и обрабатывала раны, и делала это тихо. Сама удивлялась: откуда в ней столько терпения? Сидит рядом на корточках, дышит едва-едва, пальцами -самыми кончиками -разматывает холстину, смачивает настоем, снова заматывает. И всё шепчет, шепчет -не слова даже, так, напев какой-то, без начала и конца, чтобы боль уходила, чтобы сон был глубже, чтобы чуял: рядом своя, можно не бояться. Змейка Травинка в такие минуты даже не высовывалась -лежала где-нибудь в тени, на солнышке, и ждала. Понимала, что сейчас не до неё. Что Хозяйка занята тем, что важнее.

К обеду приехал Ратибор -старший с Берестянки, села, что стояло за погостом, верстах в трёх. Небольшое -дворов пятьдесят, не больше, но своё, крепкое. Люди там жили спокойно, знали своё место, а если и случалась беда -шли к нему.

Сам Ратибор был мужик уже в годах, лицо в морщинах, как береста старая, а руки тяжёлые, мозолистые -такими и топор держать, и правду удерживать. Голос у него был особенный: сперва скрипнет, как сани по морозу, а потом слушаешься, и сам не поймёшь -то ли привык, то ли уважил. Его на сходе выбрали, когда ещё бабушка Марфа Хозяйкой

была. Выбрали не за силу даже -сила у многих была, -а за память крепкую да за слово твёрдое. Скажет -и всё. Не переспоришь, не переубедишь, потому что за словом у него всегда дело стояло.

К нему шли, когда землю делить -рассудит. Когда ссору судить -помирят. А когда к Хозяйке идти -тут уж без него вовсе никак. Сам шёл. Один. Шапку снимал у крыльца, кланялся в пояс и говорил коротко, без лишнего. Ждана его за это уважала.

Ждана была на погосте -поправляла голубец, что после зимних ветров покосился. Мох с крыши счищала, подпорку новую ставила, приговаривала что-то негромко, по-своему, тем, кто здесь покоится -чтоб не гневались. Услышала шаги -не спеша обернулась. Ратибор шёл по стёжке, шапку в руках мял, лицо серьёзное.

-Хозяйка, помощь твоя нужна -произнёс он, подойдя ближе.

Ждана выпрямилась, ладони о фартук вытерла.

-Что случилось, Ратибор? Рассказывай, -произнесла Ждана и присела на пенёк. Змейка в косе выглянула, моргнула жёлтым глазом и снова спряталась, будто сказала: «Я здесь, слушаю».

Ратибор помял шапку в руках, переступил с ноги на ногу. Вид у него был такой, будто слово застряло в горле и никак не выходило. Обычно он говорил коротко, рублено, как топором по дереву. А тут мялся, мялся, наконец выдохнул:

-Помнишь, неделю назад ребеночка Милованы похоронили. Все как положено: в берестяную колыбельку положили, с игрушкой -медвежонком липовым, с ложкой деревянной. На погосте голубец поставили маленький, с окошечком на восход. Молодая мать сама в землю опускала, сама причитала. Три дня поминальное варила, на голубец носила. Всё по роду, по обычаю. А теперь слышит она его плач. По ночам. Регулярно.

Ждана помолчала, глядя на берёзы.

-Только она слышит или ещё кто? -спросила Ждана, закусив веточку зубами с молодыми почками. Сок горчил на языке, но мысли прояснял.

-Бабка, что в доме живёт, слышала. И муж слышал. -Ратибор шапку в руках мял, мял, не глядел на Хозяйку. -Поговаривают, будто не упокоилась душа. Будто держит её что-то. А что -не знают. Посмотрела бы ты, Жданушка. Сама знаешь, к детям у нас... ну, это... -он запнулся, подбирая слово, -не всяк и подойдёт. А ты можешь.

Ждана веточку выплюнула, ладонью губы вытерла.

-Пошли, Ратибор, пошли. Конечно посмотрю, -ответила Ждана, чуть улыбнувшись.

Развернулась, подошла к избе, шагнула через порог. Из горницы вышла скоро -уже с узелком в руках, туго завязанным, с лямкой через плечо. Повязала платок -льняной, белый, по краям -красная нить, мелким узором: ромбы, косые кресты, змеиный след по самому краю, чтоб дорогу свою чу-

яла, чтоб чужие глаза отводить. Поверх -фартук. Тот самый, с бережной вышивкой. Ромбы с точками -поле засеянное, птицы по подолу -весточки от предков, а на кармане, что на животе, -змеиный след, волнистой линией. В карман она су-нула пучок полыни, на всякий случай.

-Идём, -сказала, уже на крыльце поправляя платок, чтоб плотнее лежал, чтоб ветром не сдуло. Змейка из кармана на фартуке высунулась, повела головой по сторонам. -Ты, Травинка, дома сидела бы, -тихнула ей Ждана. -Дело не твоё.

Змейка фыркнула -по-змеиному, тонко, -и спряталась обратно в карман. Не послушалась.

-Как в селе? Спокойно все? -спросила Ждана, когда они миновали погост и вышли на дорогу.

-Да, Хозяйка, -Ратибор шёл рядом, чуть позади, как привык. -Никто не болеет, скотина здорова. К празднику готовимся. Бабы муку сеют, пироги затевают. Молодёжь хорооводы водить учится. Дед Корочун сказки старые рассказывает -чтоб не забывали.

-Праздник -это хорошо. Тоже приду, -сказала Ждана.

-Конечно, ждать будем Жданушка, конечно приходи.

Подходили к избе, где, по словам Ратибора, было неладно.

Глава 7

У крыльца стоял молодой мужчина -лицо осунувшееся, под глазами тени, будто не спал ночь. Увидел Ждану, шагнул вперёд, поклонился низко, по-сельски, от сердца.

-Здравствуй, Хозяйка. Благодарствуем, что пришла. Посмотри, помоги.

Рядом с ним жалась молодая женщина — Милована, видно. Платок с головы измяла в руках, теребила край, теребила, а сама глаза опустила, не глядит. Глаза красные, заплаканные, щёки впали, губы сухие. Будто не человек перед Жданой стоял, а тень его.

И за спиной у неё, в воздухе, будто кто-то стоял. Невидимый, маленький, приникший к материнской руке так плотно, что, казалось, вращал в неё, дышал с ней в такт. В том месте, где он замер, воздух стал гуще, темнее, будто кто-то невидимый вырезал из мира кусок и вставил туда тишину. Иногда, когда Милована делала шаг, за ней тянулось что-то — не тень, не звук, а сама память о чём-то очень тёплом, что не должно было остыть. И этот кто-то смотрел на Ждану. Не глазами — их не было, — а всем своим крошечным, затаившимся существом. Только Ждана это видела. И чуяла, как холодеет воздух там, где он стоит.

Ждана остановилась перед ними, сняла с плеча узелок, поставила на землю. Змейка в кармане зашевелилась, высу-

нула голову, повела ею, словно приносясь к воздуху, -и снова спряталась. И спряталась глубже обычного.

-Ты пойдёшь со мной -произнесла Ждана, глядя на молодуху, -или боишься?

Та отрицательно мотнула головой. Коса растрепанная, волосы лезут в глаза, а она не поправляет, будто и не замечает.

-Не боюсь, -шепнула, и голос сел. -Пойду.

Взяв за руку Миловану, Ждана шагнула в избу.

Воздух чуть зазвенел -не ушами, нутром почувствовала, повела носом, поморщилась.

Пахло здесь не так, как в других домах, где покойник лежал. Там -травами горькими да землёй сырой. А тут -сладко. Приторно-сладко, как переспевшие яблоки, что уже начали гнить изнутри, а сверху ещё румяные. И кислинка к той сладости примешивалась -молочная, детская, будто грудное молоко прокисло. И под всем этим -сырость. Не та, что от земли идёт, а другая, липкая, холодная, от которой дышать хочется реже, тише, чтобы не вдохнуть лишнего. И в этой сырости слышалось дыхание -маленькое, частое, будто кто-то спал рядом и дышал во сне, но никого не было. Ждана такой запах чуяла только раз -когда бабушка Марфа её водила к мертворождённому. Тот тоже держался за порог, не уходил.

-Имя ему какое дали? -спросила Ждана у Милованы.

-Та...-та еле слышно ответила. -Жданом. Как тебя, Хозяйка. Говорили, имя это сильное, предков наших. Думали, обережёт. Ждана кивнула -в знак принятия и понимания.

Горница была невелика, как и в любом крестьянском доме: печь в углу, вдоль стен -лавки широкие, на них овчины да холстина в несколько слоёв. В красном углу -чур родовой домашний, рядом с ним -глиняная плошка, в ней ещё не догорели сухие травы. Окна занавешены -не плотно, но свет с улицы пробивался скупно, падал полосами на земляной пол, на стол, на лавки. В углу, стояла маленькая лавка, застеленная овчиной -детское место. Не убрали еще. Не смогли.

Ждана огляделась, помолчала. Потом сняла с плеча узелок, достала кувшин с огнём, поставила возле порога. Огонь тонко загудел, привычно отсекая пространство, очерчивая круг, разгорелся ровно, отрезая путь назад.

Села на лавку, посадила рядом Миловану, взяла её за руку -холодную, мелко дрожащую -и запела. Негромко. Не так, как змеям пела -звонко, вольно. А тихо, тягуче, будто нить сучила:

- Приди, приди, маленький,
Не бойся, не прячься,
Мать тут,
Мать ждёт,
Слёзы льёт,
По тебе извелась.
Выйди, выйди из тьмы,
Из-за грани, из-за черты,
Голос матери слышишь?
Он зовёт.

Иди на голос,

Иди на свет,

Иди к нам.

Мы не уйдём,

Не оставим,

Не прогоним.

Приди, приди, маленький.

Пела, покачиваясь, и голос её то поднимался, то опадал, будто ветер в трубе. И вместе с голосом покачивалась тень на стене - не Жданина, не Милованина, а чья-то третья, маленькая, которая росла и таяла в такт песне. Милована рядом сидела, не дышала почти, только пальцы в Жданиной руке сжимала, сжимала, будто та - последняя нить, что держит её на этом свете.

Змейка в кармане не шевелилась. И огонь в кувшине горел тише, чем всегда, будто прислушивался. Воздух в горнице стал гуще, тяжелее, будто кто-то невидимый вошёл и замер, слушая.

Тень появилась не сразу. Сначала воздух в углу не далеко от лавки сгустился, стал плотным, липким, будто кто-то невидимый натянул паутину от пола до потолка. Потом в этой паутине что-то дёрнулось, забилося - маленькое, испуганное. Краем глаза, не глядя прямо, Ждана увидела, как что-то отделилось от стены, поплыло, не касаясь пола.

Неясное. Нечёткое. Словно соткано из лунного света и утреннего тумана, что стелется над рекой перед рассветом.

И в этой неясности угадывалось: маленькая голова, плечи, ручка, протянутая вперёд. Маленькое -ростом с трёхлетнего ребёнка. Плыло не спеша, будто боялось, будто не верило, что можно приблизиться. На голос Жданы. На зов.

Вместе с ним в горницу заполз холод. Не тот, что с улицы, когда дверь отворили, -другой. Глубинный, могильный, от которого кости ноют, а сердце сжимается, забывая, как биться. И в этом холоде слышался шёпот -не разобрать слов, только тонкий, жалобный звук, будто кто-то звал маму, но не мог докричаться. Милована вцепилась в Жданину руку, пальцы впились, как клещи, и вся она задрожала -мелко, часто, будто в лихорадке.

И тогда раздался плач.

Тонкий, жалобный, нечеловеческий. Не голос -стон, не стон -вой. Так ветер воет в печной трубе зимней ночью, когда метель заметает деревню по самые крыши. В нём не было злобы -только тоска. Такая, что воздух в горнице стал горьким на вкус. Он тянулся к матери, искал её, звал, и в нём было столько тоски, что у Жданы самой слёзы навернулись.

Ждана запела снова. Но теперь голос её стал другим -низким, тягучим, с придыханием, будто воздух выходил не из груди, а из самой глубины, откуда змеи выползают по весне греться. В голосе этом слышалось шипение -не страшное, не чужое, а родное, змеиное, каким она с Травинкой переговаривалась, когда никто не видел. Слова тянулись медленно, обволакивали, стелились по земляному полу, как дым от по-

лыни.

- Стой.

Тень замерла.

- Слушай.

Здесь мать твоя.

Здесь та, кто родила тебя,
кто ждала, кто помнит.

Иди к ней. Не бойся.

Я не пушу тебя обратно во тьму.

Я проведу.

Но сначала -подойди.

Дай увидеть.

Голос обволакивал, тянул, не давал уйти обратно в холод. В нём было что-то древнее, змеиное -то, что помнит землю до людей, до лесов, до самого неба. Тень качнулась. Медленно, будто сквозь воду. Сделала шаг. Ждана кожей почувствовала, как тень коснулась пола. Ещё шаг.

В горнице стало темнее. Огонь в кувшине мигнул -раз, другой, устоял. А тень подошла так близко, что Ждана могла бы протянуть руку и коснуться её. Но не протянула. Только смотрела -пристально, не моргая.

И вдруг зацепила глазом то, что нужно.

В самой середине тени, там, где у живого человека сердце, мерцало что-то. Не свет, не огонь -ожидание. Будто маленькая душа всё ещё ждала, что кто-то придёт и скажет: «Вот, держи, это твоё. Теперь можно».

Ждана повернулась к матери.

-Что не положили с ним? А обещали? -строго спросила Миловану.

Та вздрогнула, губы задрожали, слёзы -те, что уже, казалось, все вышли, -снова покатались по щекам.

-Коняшку... -голос у неё сломался, она зажала рот рукой, будто боялась, что крикнет. -С сучка муж сам делал, говорил: «Вот доделаю -тебе будет». Да не успел... Всё руки не доходили, всё завтра да завтра... а я думала, после похорон доделает, положу. Думала, успею.

Она заплакала -не тихо, не в себя, а навзрыд, всем телом, сотрясаясь, как берёза на ветру

-Не дождался... Не дождался мой родненький...

-Ясно. Не выполнили обещание, -Ждана голос не повышала, но в нём появилось то, от чего Милована всхлипнула, затихая. -И сама каждый день к нему ходишь на погост. Зачем?

-Так мой же первенец! -Милована рванулась было, руки вскинула, будто обнять кого хотела, но обняла пустоту. А тень качнулась следом, будто и в самом деле хотели обняться, но не смогли. -Как не ходить-то? Он же там один, в земле сырой, в темноте... Он же мой! Я его носила, я его родила, я его грудью кормила... Как мне не ходить? Как не плакать? Как не звать?

Она упала на колени, прямо на земляной пол, закрыла лицо руками, и плечи её ходили ходуном, а между пальцев тек-

ли слёзы -крупные, частые, бесконечные.

-Вот он и возвращается с тобой обратно -сказала Ждана тихо, и в голосе её не было строгости, только горечь. -Не понимает, маленький, что уже нельзя ему тут быть. Видит мать -идёт за ней. А ты его зовёшь каждый раз, как на погост идёшь. Слезами, сердцем своим, каждой жилочкой... И он идёт. И не может уйти.

Милована подняла лицо -мокрое, красное, глаза опухли, глядят невидяще.

-Я ж не хотела... -прошептала она, и голос её был тонкий, как ниточка, вот-вот порвётся. -Я ж по-людски... по-матерински... Я ж люблю его... Так люблю, что сердце разрывается... Как же мне без него? Как жить-то, Хозяйка? Как?

Тень дрогнула. И в воздухе, в самой гуще холода, пробилося что-то тёплое, живое -маленькое, несмелое. Будто душа ребёнка услышала материнский плач и потянулась к нему.

Ждана присела рядом, обняла её за плечи, прижала к себе. Милована уткнулась ей в плечо, и плач её стал глуше, но не слабее -так река подо льдом шумит, не вырваться.

-Знаю, -тихо сказала Ждана, глядя её по растрёпанным волосам. -Знаю, касатка. Потому я здесь. Потому теперь всё исправим.

За спиной у неё, тень выдохнула. Не воздух -облегчение. Тонкое, едва слышное, как вздох новорождённого, когда он в первый раз прижимается к материнской груди.

Ждана повернулась к Миловане.

-Принеси коняшку. Ту, что обещали. И пусть муж с тобой идёт. Вместе проститесь.

Глава 8

Милована кивнула, скользнула к двери. Муж, что всё это время стоял в сенях, переступая с ноги на ногу. Зашли оба. Милована держала в руках игрушку -недоделанную, без гривы, без хвоста, но уже узнаваемую: конёк, вырезанный из сучка. Муж за её плечом, переступил порог, замер, не зная, куда деть руки.

-Заходи, -сказала Ждана. -Оба заходите. Прощаться будете.

Муж шагнул в горницу, встал рядом с Милованой, плечом к плечу. Рука его легла на спину жены -тяжелая, мозолистая, но осторожная, будто боялся сделать больно.

-Давай сюда, -Ждана взяла игрушку, подержала в ладонях. Подышала на неё, шепнула:

- Древо-матушка, сучок рожала,

Руки добрые тебя держали,

Слово твёрдое тебе давали.

Не игрушка -дар,

Не дерево -тепло.

Прими, маленький.

Это твоё- произнесла Ждана, чтобы игрушка стала его, чтобы почувствовал: вот оно, обещанное.

-Видишь? -спросила тихо, глядя туда, где мерцала тень.

Тень качнулась.

Ждана передала игрушку Миловане.

-Подержите вместе. Он должен взять её из ваших рук.

Милована взяла, пальцы её тряслись, но игрушку держала крепко. Муж рядом молчал, но рука его на игрушке сжалась, побелели костяшки.

Ждана выпрямилась. Взяла пучок полыни -сухой, горькой, догоревшей почти до тла, но ещё хранящей силу. Взмахнула им -не резко, а плавно, мягко, напевом открывая пространство.

Там, где прошёл дымный след, реальность дрогнула, пошла рябью. Стены избы качнулись, поплыли, истаяли -и вместо них открылось иное. Потянуло жаром -сухим, смоляным. Внизу, в глубине, клокотала река Смородина, над ней, раскалённый докрасна, висел Калинов мост.

-Видишь реку? -спросила Ждана тихо, и голос её был мягким, как мать укладывает дитя спать. -Это огненная река Смородина. Не бойся. Она тебя не тронет.

Милована рядом всхлипнула.

-А это Калинов мост, -продолжила Ждана. -По нему все проходят. И ты пройдёшь. За ним -развилка. Одна дорога -вниз, во тьму, в Навь. Но тебе туда не надо. Другая -вверх, в свет, в Вырий. Туда, где тепло, где игрушки сами в руки идут, где маму можно ждать, сколько захочешь. Туда тебе идти. Слышишь?

Тень замерла. Потом -медленно, несмело -двинулась вперёд. К родителям. К игрушке.

- Отдайте - тихо сказала Ждана.

Они протянули руки. Игрушка лежала на ладонях.

-Сынок... -голос Милованы был тихий, но чистый, без надрыва. -Возьми. Это твоё. Обещали -держи.

Муж рядом шмыгнул носом:

-А я... -голос его сел, но он нашёл силы. -Прости, что не успел. Доделаю. Потом принесу. Хорошего коня сделаю, с гривой, с седлом. А ты иди. Не жди. Мы сами.

Он положил руку на Милованино плечо, сжал -и оба замолчали.

Тень шагнула. И в тот миг, когда она коснулась игрушки, та в их руках потеплела, будто живая. И в свете, на миг проступило не тень -мальчик. Светловолосый, большеглазый, с игрушкой в руке. Глянул на мать, на отца -и улыбнулся.

Ждана еще раз взмахнула полынью.

-Иди. Теперь можно.

Мальчик шагнул на мост. Огонь внизу вздохнул, но не бросился-только чуть притих, пропуская. Маленькая фигурка шла медленно, но ровно. И когда она скрылась в багровом мареве, где-то на середине, Ждана взмахнула полынью в последний раз.

-Закрываю. Ступай с миром.

Пространство дрогнуло, схлопнулось -и вместо реки и моста снова стали стены избы, тёмные, бревенчатые, с огнём у порога и Милованой на лавке, сжимающей в руках игрушку рядом с мужем.

Пусто стало. И тихо. Только в тишине той слышалось - далеко-далеко, будто из другого мира, -детский смех.

Глава 9

Солнце своими лучиками пыталось пробраться сквозь приоткрытые ставни, дотянуться до лица, заставить зажмуриться, но Ждана спала крепко -после посещения Берестянки, после плача, после долгого пути, сон взял своё, укрыл с головой, не отпускал. Лучи скользили по подушке, по расчёпанной косе, по седой пряди у виска, щекотали закрытые веки -и всё равно не будили.

Только когда солнце поднялось выше и золотой круг лёг прямо на лицо, Ждана поморщилась, повела носом, потянулась -и открыла глаза.

Все, встать, встать. Дел сегодня намечалось много.

Ждана не торопясь вылезла из-под овчинного одеяла, потянулась так, что хрустнуло в спине, перекинула полураспустившуюся косу на спину, улыбнулась чему-то своему и пошла к печи -ставить травяной чай.

Ворон внимательно наблюдал за ней. Сидел на спинке лавки, голову набок склонил, жёлтый глаз поблёскивал. Его крыло и лапа срастались хорошо, раны затянулись, перья по краям уже не топорщились, ложились ровно. И сам он теперь не лежал пластом, как в первые дни, -сидел, оглядывался, даже попробовал однажды перелететь с лавки на подоконник, но Ждана тогда погрозила пальцем, и он затих, обиженно каркнув.

-Буду звать тебя Масяня -сказала она тогда, погладив его по голове. -А в серьёзных делах -Масиантий. Чтобы знал, когда шутить можно, а когда дело есть. Или, может, Массиком? -рассмеялась звонко, грудным смехом, от которого даже ворон, казалось, опешил. Глаза её засияли, веснушки на носу собрались гармошкой, и она сама, вся -живая, тёплая, смешливая -будто светилась изнутри. Ворон насупился, обиженно перебирая перья, но не каркнул, только голову отвернул -мол, насмешница, только бы посмеяться. Ждана наклонилась, чмокнула его в макушку, прямо в чёрные перья: -Ладно, ладно, не ворчи. Масиантий так Масиантий. Поев, попив чай, накормив ворона кашей (Масяня воротил клюв, но съел всё, даже по лавке поклевал), Ждана собралась в Навь. Вода в кувшинах заканчивалась -в чёрном осталось на донышке, белый наполовину пуст. Требовалось обновить, пока совсем не вышли. Не дело Хозяйке без мёртвой воды оставаться -ни душу проводить, ни боль живому унять.

Перед дорогой, по обычаю, она обошла избу -не спеша, ступая ногами по земляному полу, и затянула негромко, вполголоса:

Мать-Сыра-Земля, пусти к корням,
В Навь дороженьку укажи,
Чтоб не сбиться, не заблудиться,
Чтоб вода живая в руках держалась,
Чтоб мёртвая душу не забрала.
Чур меня, чур,

Своя иду, не чужая,
С поклоном, с просьбой, с ключом.
Что взяла -верну,
Что дали -приму,
Порога не переступлю без спроса,
Тропы не сверну без нужды.
Чур меня, чур.

Напевала, перебирая пальцами край фартука, и голос её стелился низко, как туман над оврагом. Масяня затих, голову набок склонил, слушал. Змейка Травинка высунулась из кармана, повела головой, высунула язык -и замерла, покачиваясь в такт напеву, будто тоже слова знала, только сказать не могла. Ждана замолчала, провела ладонью по лицу сверху вниз, коснулась груди -чтобы не принести с собой лишнего, чтобы чужая тьма не пристала. -Поклонилась порогу, шепнула негромко: «Не держи, отпусти. Вернись» - и взяла в руки большой глиняный кувшин. Перевязала горловину холстиной, чтоб не расплескать по дороге, и шагнула к двери. Белый потом наполнит, когда вернётся, разведёт как надо.

Выйдя за порог, она ступила на тропу, что вела не к погосту -в другую сторону, за избу, где старые сосны стояли плотной стеной, и одна из них, самая старая, самая корявая, росла здесь ещё до того, как первый человек ступил на эту землю.

-Масяня, -позвала Ждана негромко.

Ворон, сидевший на крыльце, расправил крылья, каркнул,

но потихоньку перелетел к ней на плечо. Когти вцепились в ткань платка, но Ждана только поморщилась.

-Смотри у меня -сказала ему тихо. -Не каркай там. Не место.

Ворон дёрнул головой, будто соглашался, и замер.

Ждана подошла к сосне, положила ладонь на кору -шершавую, глубокую, всю в трещинах, будто лицо древнего старца. Корни её уходили глубоко, в самую тьму, и там, между ними, в густой тени, угадывалась дверь. Круглая, старая, из плах, сбитых вплотную, с кованым замком в виде змеи, свернувшейся кольцом. Замок не ржавел, не покрывался мхом -змея смотрела жёлтыми глазами-каплями смолы и ждала. Дверь открывалась только по надобности и только Хозяйкам. Никто другой её бы и не увидел -так, корни как корни, ствол как ствол.

Ждана достала из-за пазухи ключ -маленький, вырезанный из птичьей кости. Вставила в замок-змею, повернула. Змея на замке моргнула и дверь бесшумно отворилась, выпуская из себя холодный, спёртый воздух, пахнущий прелой листвой и чем-то очень древним, что не имело названия.

Ждана перешагнула порог, дверь за ней закрылась сама, бесшумно, плотно, как не было её. Ворон на плече притих, даже дышать стал реже, только когти чуть сильнее вцепились в ткань платка. А Травинка, напротив, оживилась. Высунулась из кармана, голова и почти половина зелёного тела, замерла, поводя мордочкой. Глаза её, жёлтые, с узкими зрач-

ками, бегали по сторонам, ловили каждое движение среди корней и мха.

Это была дорога в Навь. Не Калинов мост, не Смородина река, там ходили души, а Хозяйка ходила другой тропой. Змеиной. Она вилась между старыми деревьями, такими старыми, что помнили появление этого мира, когда земля ещё остывала, а в небе только-только загорались первые звёзды. Воздух здесь был густой, тяжёлый, почти осязаемый, он давил на плечи, наваливался на грудь, заставлял дышать глубже, чаще. Пахло не землёй и листвой. Здесь был другой запах, насыщенный, древний, такой, что перехватывало горло: остывший камень, первая вода, время, которое никто не считал, и ещё что-то сладковато-тошнотное, неуловимое, как гниль в глубине леса, которую не видно, но чувствуешь нутром. Этот запах пропитывал одежду, оседал на коже, лип к волосам, и казалось, от него невозможно отмыться.

Света здесь не было. Не было солнца. Только туман тягучий, серебристо-свинцовый, что струился между стволов медленно, как патока в жаркий день. Он не освещал — он лишь обозначал границы: вот дерево, вот тропа, вот тень, которая шевельнулась. В этом тумане всё казалось ненастоящим, зыбким, готовым в любой момент растаять или, наоборот, сгуститься во что-то, чему нет имени.

Кругом тишина. Такая, что уши закладывает, что слышно, как кровь шумит в висках, как сердце стучит, как дыхание становится слишком громким, почти неприличным. И

только тихий шелест, похожий на шёпот тех, кто ушёл раньше всех, он шёл отовсюду, но слов было не разобрать, только дыхание, только вздохи, только чьи-то имена, забытые уже самой землёй. А по краям тропы, в корнях, во мху, в трещинах старой коры, шевелились змеи. Их было много, серые, бурые, чёрные, с тусклым отсветом чешуи, будто каждая была выкована из старого серебра. Они не шипели, не свертывались в кольца при виде живого, только провожали Ждану взглядами жёлтых, зелёных, янтарных глаз, и в этих взглядах не было ни страха, ни злобы. Только узнавание. Своя шла. Та, что понимает.

Они вились по стволам, сползали с веток, пересекали тропу прямо перед Жданой, и она не обходила их ступала там, где они расступались. Иногда кто-то из них, самый старый, с тусклой чешуёй и мутными глазами, поднимал голову, и тогда в воздухе раздавался тихий, свистящий звук, не предупреждение, не угроза, а что-то вроде приветствия. Или вопроса. Ждана отвечала, не словами, а коротким шипением.

Это были его владения. Великого Полоза. Говорят, он свернулся кольцом вокруг самой Нави, и нет в ней места, где бы он не видел и не слышал. К нему приходят те души, что сворачивают с Калинова моста вниз, в холод, во тьму, на суд. Он их встречает, смотрит, решает, сколько и где ждать, а кому и вовсе не выйти. Вырий не его забота. Туда уходят сами, по свету, по зову. А здесь, его власть. И змеи, что ползут по краям тропы, его слуги, его глаза и уши. Они пропускают

Ждану. Хозяйка. Та, что пришла по делу, а не просто так.

И этот шелест, и этот шёпот тянулись за Жданой, касаясь плеч, путаясь в волосах, но слов было не разобрать.

Место было не для живых, но Хозяйке здесь ходить.

Глава 10

Не торопливо идя по тропе, поглаживая Масика по голове, ворон сидел смирно, только иногда поворачивал голову, поглядывая на сумрак между деревьями, Ждана вспоминала, как познакомилась с бабушкой Марфой.

Ей было тогда лет шесть, не больше. Зима стояла лютая, реку сковало так, что лёд выдерживал и взрослого, и лошадь с телегой. Ребятня от мала до велика, кто на ледянках, кто просто на ногах, разбежавшись скользя катались на реке, всё село высыпало прогуляться. Гам стоял, смех, визг, собаки лают, снег искрит, солнце низкое, но яркое, щиплет щёки до красноты. И Ждана тогда была такая же, как все: коса в две ленты, нос пуговкой, веснушек, что звёзд на небе, ноги в валенках, в руках, ледянка из старой корзины, которую сама же и приспособила.

Веселилась, бегала, каталась до вечера, пока мать не начала с крыльца кликать. Решила напоследок, самый разгон, самый визг, чтобы все видели, как Ждана летит. Разбежалась, оттолкнулась, скользит, ветер в лицо, щёки горят, сердце в пятки, и от счастья визжит, заливается, голос по всей реке.

А её занесло туда, где начинались камыши. Старые, высохшие, торчат изо льда жёлтыми метёлками, промёрзли насквозь. И лёд там, как потом оказалось, был тоньше. Только Ждана того не знала. Да и откуда? Шесть лет всего.

Минута, всего одна минута, и жизнь изменилась.

Лёд треснул. Сначала тонко, едва слышно, будто кто-то ветку сухую переломил где-то далеко. А потом хрясь! и под ногами уже не лёд, а чёрная, ледяная вода, которая хватает за ноги, тянет вниз, за край утаскивает.

Их река всегда славилась быстрым течением, даже подо льдом не затихала, не умиралась. Не сумела Ждана промёрзшими, скользкими пальцами за камыши уцепиться, обломились, как сухие, даже не задержали. Затянуло её под лёд, завертело, понесло. Свет сверху, мутный, сквозь лёд, удалялся, мерк, гас. А она всё пыталась руками за что-то схватиться, но вокруг была только вода, холодная, тёмная, равнодушная. И лёд сверху, как крышка, как крышка...

Очнулась от тихого напева.

Голос был низкий, ровный, как смола течёт, не остановишь, не перебежишь. Слова сразу то и не разобрать, но слушать хотелось, и дышать становилось легче, и боль отступала, заворачивалась в этот напев, как в тёплую овчину.

Жила-была, жить-бывать,

От воды-полюньи отставать,

Кость к кости, душа к телу,

Сердце к груди, жизнь к теплу.

Голова кружилась и болела, в горле пересохло, тело ломило, будто её выжали и бросили сушиться на морозе. Но напев держал, не давал провалиться обратно во тьму, из которой она только что вынырнула.

Ждана открыла глаза.

Старая Марфа, что изредка приходила в село, то травы принесёт, то скот заговаривала, то на сходе слово веское говорила, сидела рядом, большая, грузная, в тёмной шали, лицо в морщинах, как старая кора. Рядом с ней плошка с дымящимся отваром, в руках тряпица, которую она то и дело макала, отжимала и обтирала Жданины руки, лицо, шею.

-Ничего, маленькая -голос у Марфы был низкий, спокойный, такой, что даже боль затихала, слушая. -Ничего, потерпи. Скоро станет легче.

Ждана хотела спросить, что случилось, как она здесь оказалась, но язык не слушался, только губы шевельнулись.

-Смерть тебя отпустила -Марфа склонилась ниже, и Ждана почувствовала на лбу тепло -шершавая ладонь, сухая, крепкая. -Да не совсем.

И старуха дотронулась до её виска. Холодным пальцем провела по коже, там, где сейчас серебрилась седая прядь. Ждана тогда не поняла, что это значит, только вздрогнула, от холода или от странного чувства, которое разлилось по телу, не понять.

-Отметила тебя -сказала Марфа тихо, и в голосе её слышалось что-то, чего Ждана тогда, маленькая, разобрать не могла. -Следующая ты. После меня будешь.

Мать, узнав, что её дочь уже побывала на Калиновом мосту и вернулась, долго не могла прийти в себя. Днями сидела у окна, глядела невидящими глазами, вздрагивала, когда

Ждана подходила близко к реке или к оврагу. А как увидела седую прядь у виска запричитала, заголосила, едва бабка Марфа угомонила - Не вой, не поминай раньше времени. Живая она. Живая.

Отец стал молчаливым. Раньше шутки, смех, мог на руках закружить, бородой колючей по щеке провести. А тут будто язык проглотил. Только смотрел. Долго смотрел. И вздыхал.

Но Ждана не изменилась. Такая же была непоседа, веселушка, с искрами в глазах. Хохочет, поёт, с мальчишками в лапту гоняет, змей в лесу ищет, чтоб понаблюдать, как они греются. И смех её грудной, звонкий снова зазвучал в доме, и мать потихоньку отошла, и отец однажды, глядя, как дочка лепечет что-то смешное змее, которую притащила с огорода, усмехнулся краешком рта. Тогда и разрешили. Ходить к Марфе, учиться. За то, за что жизнь вернули, платить надо было. Или не платить, а брать. То, что только ей теперь по силам.

Около одиннадцати лет прошло с тех пор. За душами и в Навь начала она ходить с бабушкой Марфой лет в тринадцать тогда уже не страшно было, только любопытно. А сейчас и вовсе привыкла. Всё тут знакомо: и тропа, и змеи, и шелест за спиной, и холод, что липнет к щекам, когда приближаешься к источнику. Своё место. Чужое для живых, а для неё -нет.

Глава 11

Тропа вывела на круглую поляну, зажатую между трёх огромных камней валунов. Камни были серые, в зелёном мху, таком густом, что казалось мох растёт здесь веками, питаясь чем-то, чего нет в других местах. Камни сомкнулись почти вплотную, оставляя узкий темный проход, и за ними, в самой глубине, прятался омут.

Вода в нём была чёрная, гладкая, как зеркало, и не двигалась. Никогда. Даже когда ветер шевелил ветви деревьев, что стояли рядом, омут оставался неподвижным, тяжёлым, плотным, будто не вода вовсе, а что-то живое, что затаилось и ждёт.

Тишина здесь стояла такая, что становилось больно. Не просто отсутствие звуков, а плотная, давящая пустота, которая закладывала уши, сжимала голову, заставляла сердце биться громче, чем хотелось бы. Ждана слышала собственное дыхание, слишком отчётливо, слишком громко, будто она одна здесь живая, и этот звук нарушает что-то, что должно оставаться нерушимым.

Масиантий на плече молчал, но Ждана чувствовала, как он весь подобрался, как перья на загривке встали дыбом, а когти впились в ткань платка сильнее обычного. Он не каркал, не вертел головой, замер изваянием, только глаза поблёскивали в сумраке, и в этом взгляде читалось то, чего

Ждана раньше у него не видела: осторожность. Даже страх. Ворон, который и смерти не боялся, когда волки рвали его, здесь, у чёрной воды, вжал голову в плечи и молчал, будто боялся лишним звуком привлечь чьё-то внимание.

Змейка Травинка в кармане забилась. Не высунулась, как обычно, любопытствуя, а заметалась, заскользила, ища выхода, но не на волю, глубже, подальше от этого места. Ждана нащупала её через ткань фартука, прижала пальцем, успокаивая. Травинка затихла, но не расслабилась, свернулась тугим кольцом и замерла, будто пряталась. Даже она, змея, рождённая в этом мире, здесь, у источника, чувствовала себя чужой.

От воды тянуло холодом. Глубинным, от которого ныли кости, а дыхание сжималось в груди, не желая выходить наружу, и каждый выдох взлетал белым паром. Над омутом, сверху, из непроглядного сумрака, опускался туман, низкий, плотный, он спускался медленно, закручиваясь спиралями, тянулся вниз, к воде, лизал камни, обвивал корни, стелился по самой поверхности. И в этом тумане не было ни звука. Он двигался беззвучно, как сон, как что-то, что не обязано подчиняться законам живого мира.

С одного из камней свешивалась корявая берёза. Ствол белый, но в чёрных подтёках, будто плакала чем-то горьким, а корни её уходили прямо в воду, переплетались с чем-то там, на дне, с чем-то, что не показывалось на поверхность. На ветвях висели ленточки, старые, выцветшие, те,

что оставляли Хозяйки до Жданы. Когда-то они были красными, синими, зелёными, теперь все стали серыми, и концы их истлели, свисали тонкими нитями. И среди них, на самой тонкой ветке, что свешивалась ниже всех, висела одна, ещё живая, яркая, синяя и вышит на ней жёлтой нитью одуванчик, пушистый, солнечный, совсем не здешний. Жданина. Её помогла повязать бабушка Марфа, когда впервые взяла Ждану с собой к источнику, и с тех пор ленточка не выцвела, не истлела, не стала серой. Пока Хозяйка жива, лента держит цвет. А когда уйдёт, поблекнет, как все остальные.

И они не двигались. Вообще. Даже когда Ждана проходила мимо, даже когда её дыхание касалось их, они висели неподвижно, будто время здесь остановилось или никогда не начиналось.

Воздух здесь был холодный, сырой, он оседал на коже, на волосах, на одежде, забирался под платок, заставлял ёжиться. И в этой сырости, в этой давящей тишине, в этом неподвижном тумане чувствовалось, место не для живых. Но Ждана стояла здесь. Масиантий молчал на её плече, Травинка замерла в кармане, и все они трое, живые, ждали, когда можно будет уйти.

Поклонившись воде, Ждана потихоньку запела. Голос её был тихий, почти шёпот, но в тишине, что стояла над омутом, каждое слово звучало отчётливо, тяжело, будто падало в воду камнем и расходилось кругами, которых никто не видел.

Вода-матушка, чёрная, глубокая,
Тиной поросшая, сном затянутая,
Не гневись, не серчай,
На поклон пришла, с просьбой пришла,
Края твоего не нарушу,
Дна твоего не коснусь,
Каплю возьму -три отдам,
Тишину твою не нарушу,
Покой твой не потревожу.
Пусти, пусти,
Не держи,
Не тяни на дно,
Не поминай лихом.

Напевала, покачиваясь, и голос её стелился над водой, не нарушая тишины, вплетался в неё, становился её частью. Масиантій молчал, даже дышать стал реже. Травинка в кармане замерла, не шевелилась, будто слушала, боясь пропустить слово.

Ждана присела на корточки у самого края. Потихоньку, не торопясь, движением, которое повторяла сотни раз, плавно, осторожно, чтобы не плеснуть, не коснуться поверхности раньше времени, опустила кувшин в чёрную воду. Та приняла его без звука, без всплеска, только на миг пошли круги, и сразу сомкнулись, будто ничего и не было.

Наполнила. Вытащила. Поставила на землю, прикрыла холстиной, той самой, что захватила из дома, затянула узлом,

чтоб не расплескать по дороге.

Потом, всё так же сидя на корточках, провела ладонью над водой, не касаясь, только туман зачерпнула, только тепло своё передала.

-Благодарствую, -сказала тихо, по-своему, как учила Марфа. -Не обманула, не ослушалась, не взяла лишнего. Как брала, верну. Как обещала, исполню. Ты мне воды, я тебе тишины. До поры, до времени.

Помолчала, глядя в чёрную гладь. В глубине, там, где иногда что-то мерцало, сейчас было пусто. Или притаилось.

-До следующей нужды -добавила шепотом и поднялась, чувствуя, как затекли ноги, как холод отпускает нехотя, по чуть-чуть.

Глава 12

Отойдя от омута и выйдя опять на тропу, Ждана вздохнула полной грудью, хоть и привыкла сюда ходить, а всё равно не по себе. Место чужое, не для живых, и даже когда знаешь, что тебя пропустят, всё равно где-то внутри сидит холодок: а вдруг в этот раз нет?

-Стра-а-шно, -прокаркал ворон.

Ждана резко повернула к нему голову. Глаза округлила, брови взлетели.

-Масяня?

-Я -голос у ворона был хриплый, низкий, с каким-то железным скрежетом, будто он не слова выталкивал, а камни перекатывал. -Я. Кто ж ещё.

Ждана так и замерла с открытым ртом. Ворон сидел на её плече, голову набок склонил, жёлтый глаз поблёскивал, и вид у него был такой, будто он сам от себя не ожидал, что скажет.

-Не знаю, не знаю -он взъерошил перья, каркнул коротко, будто кашлянул. -Видать, место так действует.

-Место? -Ждана всё ещё смотрела на него, не веря. -Ты раньше молчал! Всё время молчал!

-И что? -ворон дёрнул головой, отвернулся, делая вид, что рассматривает сумрак между деревьями. -Молчал и молчал. А тут... наговорило. Не спрашивай, сам не пойму.

Он замолчал, обиженно перебирая перья, но краем глаза поглядывал на Ждану, проверял, не рассердилась ли.

А Ждана вдруг рассмеялась. Звонко, грудным смехом, от которого даже змеи на тропе головы подняли. Смеялась, утирала слёзы, приговаривала:

-Масяня... Заговорил... И первое слово - «страшно»! Ворон!

Ворон нахохлился, клюв поджал, но промолчал. Только когда Ждана отсмеялась и вытерла глаза, буркнул себе под клюв:

-Ну и что. Зато честно.

-Масик, а ты теперь останешься со мной или улетишь? - поинтересовалась Ждана, поглаживая его по голове. -Ты же летать скоро сможешь.

-Ку-да -каркнул Масиантий. -Куда я от тебя? Непутевая ты. Лезешь вечно куда не надо, в Навь всякую, в омуты чёрные, со змеями разговариваешь, ещё и смеёшься там, где молчать надо. А я -он приосанился, перья распушил, -я му-у-удрый. Направлять буду. Чтобы не заблудилась. Чтобы не наделала глупостей. Чтобы -тут голос его стал чуть тише, - чтобы одна не ходила.

Ждана улыбнулась, прижалась щекой к его тёплым перьям.

-Ну спасибо, мудрый Масиантий. Тогда уж точно не пропаду.

Ворон фыркнул, но щеке не мешал, только клюв чуть от-

вернул, делая вид, что так и надо, что он вообще тут главный и всё по его воле.

Травинка в кармане зашевелилась, высунула голову, повела ею, глянула на ворона, высунула язык, тонкий, раздвоенный, и будто посмеялась по-змеиному, беззвучно, одним движением. Мол, ты мудрый, а я так, при ней, тихонько. И спряталась обратно.

Шли не торопливо, разговаривали вполголоса. Масяня оказался не просто мудрым, он был много знающим. Рассказывал, как вороны помнят всё, что видели их предки, как передают память из клюва в клюв, из гнезда в гнездо. Рассказывал про старые леса, про реки, которые текут под землёй, про то, как мир рос и менялся, а они, вороны, смотрели и запоминали. Ждана слушала, улыбалась, иногда переспрашивала и ворон, важничая, расправлял перья и каркал что-то ещё более древнее, чем прежде.

Вдруг Ждана как будто споткнулась и остановилась. Повертела головой в разные стороны, прислушиваясь к чему-то, чего ворон не слышал.

-Тебе не кажется, что кто-то смотрит, Мася?

Ворон огляделся, дёрнул головой. В Нави он был в первый раз, и здесь всё, и сумрак между стволами, и змеи, что вились по краям тропы, и тишина, которая давила на уши, всё было чужим, неправильным, не для живых. Он старался держаться, расправлял перья, каркал бодро, но Ждана чувствовала, ёжится, хоть и не показывает.

-Да тут все смотрят -каркнул он, кивнув на змей. -Весь лес смотрит. Чего тебе ещё?

-Да нет, не так -Ждана повела плечом, будто сбрасывала что-то невидимое, тяжёлое. -Другой взгляд. Обжигающий и одновременно холодный, тяжелый. Такой... подходящий этому месту.

Масиантий замолчал. Перья на загривке у него поднялись, и он медленно, очень медленно повернул голову, вглядываясь в сумрак между стволами. Там, в глубине, между корней, где свет не проникал, что-то мерцало, не глаза, не огонь, а сама тьма сгустилась в точку и смотрела. Он не каркнул, не взъерошился, только прижался к Жданиному уху, и голос его стал совсем тихим, каким она ещё не слышала.

-А... смотрит.

Они пошли быстрее дальше, но теперь уже молча, и взгляд тот, холодный, древний, провожал их до самой двери, что вела обратно в Явь. И только когда дверь за ними закрылась, ворон выдохнул, распушился и каркнул:

-Больше не полезу. Ни за что. Туда.

-Полезешь -усмехнулась Ждана, прижимая кувшин к груди. -Ты ж теперь мудрый направляющий. Куда ж я без тебя?

Ворон хотел что-то каркнуть в ответ, но только вздохнул и замолчал, обиженно перебирая перья.

Глава 13

Всё же решила с утра испечь пирог, - Давно себя не баловала - решила Ждана. Одеда фартук жёлтый, как само поле с одуванчиками, повязала на голову такую же косынку, чтоб ни одна волосинка не упала, не испортила тесто, не спугнула удачу. Закатав рукава на рубаше, аккуратно просеяла муку, не спеша, с поклоном, будто земле кланялась, замесила тесто, вкладывая в него тепло ладоней, и запела негромко, склонившись над квашней:

- Расти, тесто, пышно,
Пекись, пирог, вкусно,
В радость тому, кто возьмёт,
В сытость тому, кто придёт.
Чур, не пригори, не убеги,
Румян будь да мягок,
С пылу с жару, с поклоном.

Пела, покачиваясь, и тесто под её руками вздыхало, будто слушалось. Потом поставила его возле тёплой печи - подходить, набираться силы.

— Хозяйка! Хозяйка! — молодой знакомый голос кричал у крыльца. Всё же побаивались деревенские заходить в её избу, даже те, кто с детства знал, даже те, кому она сама помогала. Порог для них был чертой, за которую не всякий решался ступить.

— Лада, ну что ты кричишь так? — произнесла Ждана, выходя на крыльцо и вытирая руки рушником. — Я же не старая и не глухая.

Голос её был спокойный, даже чуть ленивый, будто весь день собиралась сидеть у печи, а тут вот, надо же, позвали. Но глаза уже смеялись: она узнала этот голос. Лада, ровесница Жданы, семнадцать весен ей только минуло. Бойкая, весёлая, из тех, кто не боится ни волка, ни темноты, а тут, поди, прибежала, запыхалась. Значит, дело есть.

— Жданушка, ну не ворчи — произнесла Лада, и сама вся светилась изнутри.

Девка была видная: высокая, статная, коса русая, в три пальца толщиной, до пояса, лентой вплетена. Глаза синие, как небо в ясный день, щёки румяные, сама вся ладная, крепкая. В ней сила играла, не злая, не грубая, а весёлая, переливчатая, как ручей весной. И голос такой же: звонкий, задорный, на всю улицу слышно. Ждана её любила за эту живость, за то, что Лада не боялась ни её, ни погоста, приходила, когда хотела, и всегда с гостинцем: то пирожок, то ленту новую, то просто весть какую. А сейчас Лада и вовсе не стояла на месте, переступала с ноги на ногу, теребила конец косы, нетерпеливая, молодая, вся ожидание.

— Завтра праздник, Живин день! Весь мир вокруг радуется, а ты всё с рушником да с печью, да со змеями своими. Ну, пойдём завтра с нами в хороводы, берёзки лентами украшать! Богиня Жива сама велит веселиться.

Глаза у Лады блеснули, щёки разгорелись, она аж подпрыгнула на месте, так ей хотелось, чтобы Ждана согласилась. Праздника она ждала как чуда, как дня, когда можно надеть самую красивую ленту в косу и забыть про всё на свете.

— Ладушка, да меня и староста приглашал — ответила Ждана, усмехнувшись. — Сказал, ждут все. Приду, конечно.

— Конечно ждут, все тебя и ждут, ты же наша, выросла с нами, все знают тебя. Вот и хорошо! Вот и ладненько! — Лада прихлопнула в ладоши, глаза засияли, будто сама уже в хороводе кружилась. — Может, и присмотришь себе кого, — добавила она, хитро подмигнув. — Есть там один... Всё на тебя заглядывается и спрашивает постоянно: «А когда Жданушка придёт? А что Ждана? А не передумала ли?»

Ждана покачала головой, пряча улыбку.

— Это кто ж такой любопытный?

— А вот придёшь — увидишь, — Лада загадочно повела бровью, игриво перемахнув косу за плечо, и тут же снова засмеялась, звонко, по-девичьи.

— Знаешь же, нельзя мне так хороводиться с мужчинами, — Ждана вздохнула, поправила край фартука, будто он вдруг стал тесен. — Мой век как Хозяйки намного дольше, чем у простого человека. Раза в два, а то и в три. Как-замуж-то? Видеть, как он стареет, а я всё такой же остаюсь? Седина у виска не в счёт, она метка, не возраст. А душа... душа молодая. И тело тоже. А рядом, любимый, да уже с клю-

кой. Не хочу.

Голос её дрогнул, самую малость, на одно мгновение. И тут же снова стал твёрдым, будто и не было ничего.

— Так что, Ладушка, не про меня это. Приду на праздник, берёзки украшу, в хороводе с девками постою, и всё. А парни твои пусть на других заглядываются.

Она усмехнулась, но глаза остались серьёзными. А Лада только вздохнула, по-своему, по-бабьи, хотя и молода ещё, но поняла: не переспоришь. И снова улыбнулась, беря Ждану под руку.

— Ой, а кто это у тебя такой чёрный да лохматый? — удивлённо спросила Лада, показав пальцем на крыльцо, куда не торопясь вышел ворон. Тот замер, склонил голову набок, глазами сверкнул, будто оценивал гостью.

— Масяня, — ответила Ждана, пряча улыбку в уголке губ.

— Масяня? — Лада моргнула, не веря своим ушам. А потом рассмеялась, громко, звонко, заливисто, так, что смех её поплыл над погостом, зацепился за ветки берёз, скатился к оврагу и где-то там, вдали, отозвался эхом, будто сам лес улыбнулся. Она схватилась за живот, согнулась пополам, даже слеза выступила на глазах. — Масяня! Ворона Масяней! Да так ведь в селах, что в недельной дальности от нас, медведя кличут! А он у тебя какой медведь? Потрепанный, вороны клюв, а важный, как жених на смотринах.

Ворон нахохлился, переступил с лапы на лапу, но не каркнул, только обиженно отвернул клюв. А Ждана, глядя на по-

другу, сама не удержалась, рассмеялась, тихо сначала, а потом всё звонче, грудным своим смехом, от которого даже Травинка в кармане заворочалась, выглянула, повела головой и снова спряталась.

— Ну и имя ты ему дала, Хозяйка — выдохнула Лада, вытирая слёзы. — Век буду помнить.

— Зато не забудешь — усмехнулась Ждана, подмигнув ворону. Только тот сделал вид, что ничего не слышал.

— Но... для вас он Масиантий, запомни, а то не откликнется — добавила она уже серьёзнее, глядя на Ладу. Та кивнула, всё ещё утирая выступившие слёзы, но смех её потихоньку утихал, только иногда вздрагивали плечи.

— Масиантий, значит — протянула Лада, поглядывая на ворона с новым, почти почтительным любопытством. — Ну, Масиантий так Масиантий. Будем знать.

Ворон дёрнул головой, каркнул коротко, будто подтверждая, и важно зашагал к погосту, показывая, что разговор окончен.

— Ладно, Хозяйка. Тогда хоть ленту мне поможешь выбрать? А то я уж замучилась, всё не могу решить, красную или синюю.

— Конечно синюю, под цвет твоих глаз — улыбнулась Ждана, глядя на подругу. Взгляд у Лады был ясный, глубокий, будто в озёрную воду заглянула. — Синяя к твоим русым волосам лучше пристанет, и сама ты в ней словно светлее станешь.

Лада провела пальцами по косе, будто уже примерила ленту, и довольно кивнула.

— Тогда синюю. Спасибо, Жданушка. Уж ты-то знаешь, что к чему.

Она чмокнула подругу в щёку и, не дожидаясь ответа, побежала со двора, только подол мелькнул за погостом.

Глава 14

К ужину пирог поспел и в печи издавал такие запахи, что змеи собрались у порога, подняли головы, высунули тонкие языки, ловя дразнящий дух, и смотрели, не мигая, что там Хозяйка делает.

По избе поплыл запах, густой, пряный, чуть горьковатый, с хвойной свежестью, будто весенний лес сам переступил порог и улёгся на печи. Пахло черемшой, молодой, с острым чесночным духом, что щипал ноздри, и ржаным тестом, и топлёным маслом, и ещё чем-то неуловимым, лесным. Запах забирался в углы, оседал на бревенчатых стенах, путался в травах, что висели под потолком, и даже сквозь щели в ставнях тянулся наружу, к лесу, к погосту.

Травинка и вовсе свесилась с лавки, вытягивала тёплый пряный дух, и глаза её, жёлтые, узкие, блестели от нетерпения. Даже Масяня, вошедший с улицы, подошёл к печи, переступал с лапы на лапу и поглядывал искоса: скоро ли?

Всем, конечно всем досталось по кусочку и по миске молока. Допивая свой стакан с тёплым молоком, Ждана услышала, как над крыльцом запели дощечки.

Звук был негромкий, глухой, тягучий, с дрожью, будто кто-то невидимый дул в пустой камыш, заставляя воздух вибрировать и стыть. Он не звенел и не выл, а тянулся, заунывный, как плач по нерождённому, как вздох земли над

могилой. Он пробирался сквозь стены, сквозь щели, сквозь самую тишину.

Живые этот звук не слышат, его чувствуют нутром: сжимается сердце, волосы шевелятся, мороз по коже, а откуда, не поймут. Им хочется сжаться в комок, закрыть уши. А Хозяйка просто слышит плач. Душа зовёт. Потерянная, неприкаянная, что плакала невидимо, а дощечки отвечали ей, вторили, и в этом было что-то древнее, беспросветное, от чего даже старые змеи в лесу замирали.

Ждана поставила стакан, переглянулась с Масяней. Ворон нахохлился, прижал перья. Травинка замерла, даже не шевелилась.

— Иду — тихо сказала Ждана, поднимаясь. — Иду, не плачь.

Выйдя на крыльцо, Ждана остановилась. Вечерело, солнце уже не грело, только золотило верхушки деревьев, и в этом золоте лес казался чужим, притихшим, будто тоже слушал. Она подошла к дощечкам, что висели на крыльце, и замерла, вглядываясь в их тонкие, змеиные концы. Когда они звучат, то не просто звенят они чуть заметно отклоняются, тянутся в сторону заблудшей души, как флюгер, но не от ветра, а от невидимого притяжения, от того, что там, кто-то плачет и не может найти дорогу.

Взяв свой узелок с необходимым, подвязав фартук поверх зелёной рубахи с вышивкой по вороту, подождав, пока Травинка заползёт в карман, а Масяня усядется на плечо, ворон

сегодня был молчалив, только когти чуть более вцепились в ткань, Ждана пошла в сторону, куда показывали дощечки.

Тропа, что вела с погоста, терялась в вечерних сумерках. Солнце уже село, но тьма ещё не наступила, воздух был густой, синий, как глубокий омут, и в этом полусвете всё казалось чужим, зыбким. Дощечки над крыльцом, проводив Хозяйку долгим, заунывным гулом, замолкли, и теперь тишина стояла такая, что слышно было, как под ногами шуршит трава, как где-то далеко, за лесом, кричит ночная птица.

Ждана шла не спеша, но твёрдо. Травинка высунула голову из кармана, повела ею, высунула язык, ловила запах, что тянулся оттуда, куда указали дощечки. Масяня на плече сидел тихо, только иногда, когда ветер шевелил ветви, прижимался к Жданиному уху тёплыми перьями.

А впереди, в синем мареве, уже угадывалось что-то не видимое глазом, но осязаемое нутром: чья-то боль, чья-то душа, что не могла найти дорогу домой. Воздух там стал плотнее, холоднее, будто сама тьма сгустилась в комок и замерла, не смея дышать. И в этой тьме, в самой её глубине, что-то тихонько звенело, не стекло, не металл, а память, тонкая, как паутина, что вот-вот порвётся. Звон этот не был слышен ушами, он отзывался где-то в затылке, под рёбрами, заставляя кожу покрываться мурашками.

Бесформенный сгусток, клубок серо-чёрного тумана, с проблесками, то мелькнёт лицо, рука, то снова пропадёт, будто кто-то зажёл и погасил свечу в непроглядной дали. Ду-

ша путалась в ветвях, цеплялась за сучья, не в силах оторваться, и от этого каждое её движение было рваным, болезненным. Ветки, которых она касалась, покрывались инеем, не белым, а сизым, мёртвым, и на этом инее проступали на миг узоры, похожие на письма, которых никто уже не прочтёт. Глухой, прерывистый стон вырывался из её глубины, да иногда, обрывок имени, сказанного таким голосом, будто он звучал из-под земли.

Подойдя ближе, Ждана присмотрелась. В сером клубке, в той самой мути, что вилась между ветвей, вдруг на миг проступило знакомое: высокий лоб, глубоко посаженные глаза, седая борода, когда-то густая, а теперь жидкая, как осенняя паутина.

— Дедуль? Ты ли это? — спросила шепотом, и голос её дрогнул.

Туман качнулся, будто услышал.

— Так ты ж полгода как должен уже был уйти, — Ждана сделала шаг вперёд, не боясь, не отстраняясь. — Почему до сих пор бродишь по Яви? — Травинка с удивлением высунула голову и наблюдала за всем.

— Хозяюшка, Жданушка, внученька — прошелестел сгусток, тихо, едва слышно, будто сухие листья ветер перебирал в ночной тишине. — Помоги... Заплутал совсем.

Ждана молчала, только смотрела не мигая. Вокруг сгущались сумерки, и в этом синем, тягучем воздухе каждый звук казался слишком громким, слишком живым.

— Ждал ведь свою Младу, — продолжала душа, и в шесте этом слышалась такая тоска, что у Жданы сердце сжалось, а в горле встал ком, твёрдый, сухой, как прошлогодняя корка. — Не мог уйти без неё. Ждал... полгода ждал. А сегодня ее похоронили.

Ждана мотнула головой, соглашаясь. Туман дрогнул, будто вздохнул, и от этого вздоха повеяло могильным холодом — не резким, а тягучим, как сырой воздух из раскопанной могилы. Холод этот лип к щекам, забирался под ворот, шевелил волосы на затылке.

— Дождася. Она-то быстро ушла, легко, как лист по воде... А я вот... Сгусток чуть заметно качнулся, голова поникла, плечи опустились. Душа будто пыталась вздохнуть, но не могла, только вилась тонкими нитями серого тумана, цеплялась за ветки, путалась в них.

— А я застрял — выдохнул дед едва слышно, и голос его был такой же серый, как и он сам. — Не могу следом. Помоги, Жданушка. Дорогу укажи.

И в этом «укажи» было столько вековой усталости, что даже ветер замолк, слушая.

Ждана помнила его. Дед Велимир, тот, что всегда рассказывал сказки малым ребятам, усаживая их вокруг себя на тёплой завалинке, и делал игрушки: вырезал из липы коней да медведей, а из сосновых шишек птичек, что будто летели, если их подбросить. Сам он был высокий, сутулый, с большими тёплыми ладонями, которые пахли деревом и мёдом.

Глаза у него были светлые, с весёлыми лучиками в уголках, и когда он улыбался, они прятались в морщинках, как звери в норах.

Жил он со своей женой Младой. Млада была ладная, тихая, с лицом, будто выточенным из берёсты, гладким, с тонкими, чуть грустными чертами. Ходила она плавно, неслышно, и голос у неё был низкий, певучий. Детей у них не было своих, вот он и играл с чужими, душой отдаваясь каждой сказке, каждой вырезанной лошадке. А Млада в это время сидела на лавке, пряла, и иногда, не поднимая глаз, улыбалась чему-то своему. Она не мешала ему, не звала, не перебивала. Просто была рядом, и этого им хватало. Так они жили, тихо, ладно, как два старых дерева, что корнями срослись под землёй, а наверху и не видать.

Умер дед Велимир около полугода назад. Лег и не проснулся, тихо, без мук. А Млада не жаловалась, не звала Хозяйку, не плакала на людях. Только после похорон стала реже на улицу выходить, да иногда, когда Ждана проходила мимо их дома, чуяла она знакомый холодок, там, за порогом. Душа деда не ушла, осталась в доме, с женой. И Младу это, видать, устраивало. Не рассказывала она никому ничего, будто боялась, что придут и заберут его. Жила с ним как с живым, разговаривала, еду ставила.

Ждана знала, бабка Марфа знала, но не трогали. Не их дело, пока не позовут. А теперь позвали, дощечки запели, и она пришла.

Вздохнула, погладила по голове Масыню, чуть пальцем коснулась Травинки, достала с узелка пучок полыни и начала.

Раскурила сухие стебли от огня в малом глиняном горшочке. Дым пополз не густо, не чёрно, а тонко, серебристо. Ждана окуривала сгусток не спеша, трижды обходя его, и пела негромко:

Полынь-травя, горькая память,
Выведи душу из тьмы, из распутья,
Из ветвей, из корней, из ночной тоски.
Кто ждал, дождался,
Кто любил, не забыл,
Кто ушёл, дорогу укажи.
Велимиру путь,
А нам тишину.

Дым вился, обвивал серый клубок, и тот постепенно светлел, распрямлялся, переставал цепляться за сучья. Вместо рваных движений появилась плавность, а из глубины послышался не стон, а вздох, долгий, облегчённый.

Ждана выпрямилась, отступила на шаг. Взмахнула полынью, мягко открывая дорогу. В сумерках, среди деревьев, проступило зарево, потянуло жаром, смоляным, древним. Калинов мост и в конце его кто-то ждал, маленькая знакомая фигурка.

— Млада — выдохнула душа, и в голосе не было стоны, только тихая радость.

Сгусток потянулся к мосту, и проступил дед Велимир, каким Ждана его помнила: высокий, сутулый, с тёплыми ладонями и улыбкой в морщинках. Он обернулся, кивнул ей и шагнул на дорогу.

— Иди, дедуль — тихо сказала Ждана. — Она заждалась.

Ждана взмахнула пучком полыни в последний раз.

— Закрываю, — шепнула. — Ступай с миром.

Пространство дрогнуло, схлопнулось, и остались только сумерки да запах полыни.

Ворон на плече выдохнул, Травинка высунулась из кармана, лизнула воздух и спряталась. А Ждана постояла ещё немного, глядя на опустевшие ветки, и пошла обратно к дому.

Глава 15

Живин день встречали всем селом. С утра девушки украшали берёзки разноцветными лентами, плели венки из первых полевых цветов, водили хороводы с песнями, в которых славили богиню Живу, дарившую тепло и жизнь. Парни состязались в силе и ловкости, а старики рассказывали сказки о том, как мир просыпается после долгого сна. Повсюду пахло свежим хлебом, медовым квасом и чем-то сладким, ускользающим, как само счастье. Даже старые змеи выползали погреться у погоста, и никто их не боялся, потому что в Живин день даже змеи становились добрее. Ждана любила этот праздник за то, что он напоминал: жизнь сильнее смерти, а весна всё равно придёт, как бы ни лютовала зима.

Ждана проснулась в хорошем настроении, будто сама богиня Жива заглянула в душу и шепнула - Пора радоваться-. В окно заглядывало солнце, лучи его скользили по бревенчатым стенам, золотили травы под потолком, играли на вышивке рушников. Нос щекотало перо Масяни, который пристроился рядом, чёрным комком на краю постели. В последние дни он почему-то решил спать именно рядом с Жданой, и она не прогоняла, только иногда гладила его по голове, когда просыпалась среди ночи.

Сегодня он не ворочался, не каркал, только дышал ровно, и перья его пахли утренним лесом и чем-то ещё, род-

ным. Ждана улыбнулась, потянулась, разбудила ворона лёгким прикосновением к клюву.

— Вставай, Масяня, праздник сегодня.

Надев самый лучший наряд. Рубаха белая, льняная, с вышивкой по вороту и рукавам: красной нитью шли ромбы и косые кресты, оберегающие от дурного глаза, а по подолу вился змеиный след, тонкий, почти незаметный, но свой. Поверх рубахи, фартук жёлтый, как поле с одуванчиками, тот самый, что она носила с радостью, и подол его был вышит птицами, несущими весточки предкам. Волосы, каштановые, с медным отливом, падали на плечи тяжёлой косой, и Ждана вплела в неё ленту зелёную, под цвет глаз, которые горели искристо, живо, как два лесных озера в солнечный день. Седая прядь у виска серебрилась, но не старила, а только подчёркивала, что она не простая, помеченная. Коса уложена вокруг головы, чтобы не мешалась в хороводе, и конец её, с лентой, свисал на грудь.

Взяла ленту для берёзы, которую украшали в этот день. Лента была шёлковая, зелёная, как молодая листва, с вышитой по краю тонкой нитью белого цвета, что вилась змейкой. Сама Ждана её вышивала прошлым летом, вкладывая в каждый стежок добрую память о тех, кто ушёл, но не забыт. Края ленты мягко струились в руках, пахли лёгким травяным настоем, которым она их пропитала, чтобы духи леса не гневались, а принимали дар с радостью.

Ждана решила оставить Масяню и Травинку дома, нака-

зав строго-настрого смотреть за домом и за глиняными дощечками.

Вышла на крыльцо, да чуть не споткнулась о порог, увидев сию картину. Травинка, как зелёная верёвочка, вытянулась вдоль доски, на крыльце, светло-желтое брюшко к солнцу, язычок высунула, даже кончик хвоста оттопырила, ловит тепло. А Масяня рядышком, на спине, крылья в раскидку, лапы кверху, пузо чёрное, с синим отливом, греет. Перья у него гладкие, мягкие, густые, лежат ровно, как шёлк, и на солнце переливаются, будто вороньего царя одеяло. Глаз прикрыл, клюв приоткрыл, голова набок, такой довольный, будто весь мир ему пирог с черемшой поднёс.

Ждана руками всплеснула.

— Кто увидит такую красоту, ввек больше не придут, скажут, хозяйка даже помощников своих потравила.

Голос её звучал с укором, но в глазах уже плясали смешинки, а в голосе чувствовалась та самая тёплая, глубокая нотка, что не позволяла обижаться всерьёз. Травинка даже ухом не повела, только язык высунула чуть дальше, а Масяня приоткрыл один глаз, жёлтый, наглый, и снова закрыл, будто говорил: «А нам всё равно. Мы греемся».

Ждана постояла, покачала головой, а потом рассмеялась, тепло, грудным смехом, от которого даже дощечки над крыльцом чуть качнулись.

— Ладно, лежебоки— сказала она, обходя их осторожно, чтобы не наступить. — Грейтесь.

Она сошла с крыльца и направилась к селу, оставляя за спиной двоих сонных разбойников, что продолжали нежиться на солнце, не обращая внимания ни на какие слова.

Погост встретил её привычной тишиной. Домовины стояли чинно, каждая на своём месте, с окошечками на восход, и Ждана, проходя мимо, чуть касалась пальцами их тёплых, нагретых солнцем крыш. Притрагивалась не спеша, будто здоровалась с теми, кто внутри.

— Мир вам — шептала тихо, проходя мимо одной, другой, третьей.

И домовины, казалось, отвечали ей лёгким, едва слышимым вздохом, сухой древесной тёплой крошкой, что сыпалась из-под её пальцев, да тем особым, только здесь, на погосте, уловимым покоем.

Даже у старого голубца, где когда-то похоронили младенца, она на миг задержалась, провела ладонью по резному столбику.

— И тебе, маленький, лёгкого сна — сказала негромко.

Никто не ответил, но ветерок чуть шевельнул ленту, привязанную к голубцу, будто кто-то невидимый дотронулся, благодаря. Ждана улыбнулась краешком губ и пошла дальше, к околице, откуда уже доносились песни и смех селян, собравшихся праздновать Живин день.

Повязав свою ленту на березу, Ждана встала с девушками в хоровод. Девушки все были разные, одна краше другой. У одной рубаха синяя, вышивка нитью по вороту, сама светлая,

коса тугая, лента алая вплетена. У другой, зеленая, как молодая трава, венки из одуванчиков на голове, глаза смешливые. Третья в белом, с красным поясом, по подолу, обережные ромбы, вышитые матерью. У каждой свой наряд, своя стать, и все они кружились, смеялись, перекликались, как птицы в весеннем лесу. Ждана среди них была своя, но чуть особенная: строже вышивка, глубже поклон земле, а в глазах, вечная тишина погоста, которую она прятала за улыбкой.

К обеду всем селом сели, кто на траву, кто на расстеленные рушники, кто на лавки за поставленные деревянные столы, и началось угощение. Чего только не принесли хозяйки! Пироги с черемшой, пряные, острые, от которых щиплет язык. Пироги с творогом и мёдом, нежные, сладкие, тают во рту. Пироги с рыбой, с луком и яйцом, рассыпчатые, сытные. А ещё курники, с курицей и гречей, да ватрушки с ягодой, да шанежки с кашей, да караваи пшеничные, что пекли только к празднику. Запахи стояли такие, что голова кружилась: сдоба, травы, печной жар, топлёное масло.

И квас, и взвар, и березовый сок в берестяных туесках. Хозяйева наперебой угощали, хвалились своими умельцами, и Ждана от души благодарила, пробовала всё понемногу, улыбалась, но про себя отмечала, кто как испёк, чей пирог румяней, чья выпечка легче. Сама потом на погосте вспомнит, с поклоном.

Лада, что сидела рядом, прищурившись, пальчиком показала на парней, что сидели недалеко. Среди них выделялся

один, высокий, плечистый, с тёмными вьющимися волосами, что падали на лоб. Он не сводил с Жданы глаз.

— Вон видишь, Добрыня стоит, сын кузнеца, — зашептала Лада на ухо. — Ну, высокий такой, красивый, с тёмными вьющимися волосами? Он про тебя спрашивает, всё спрашивает, вишь как смотрит-то, смотрит, глаз не отводит.

Ждана повела плечом, чуть покраснела, но голову не опустила.

— Вижу — сказала тихо, едва шевельнув губами. — И что с того?

— Как что? — Лада улыбнулась, подтолкнула её локтем. — Парень хороший, неженатый, а ты всё одна да одна. Может, он и есть тот, кто тебя разглядит? Не как Хозяйку, а как девушку.

Ждана не ответила, только посмотрела на Добрыню. Тот, встретив её взгляд, чуть улыбнулся уголком губ, и она поспешно отвела глаза, будто жаром обдало. А Лада продолжала шептать, довольная произведённым эффектом.

Ленты на берёзах полоскались по ветру, и казалось, что сам лес кружит с ними в хороводе. Ждана смеялась, ела, пила, но всё чаще поглядывала на край поляны, где тень от деревьев становилась всё длиннее. Праздник есть праздник, а своя забота всегда при ней.

Солнце опустилось к макушкам сосен, и в воздухе поплыла та особенная, вечерняя тишина, когда слышно, как шелестят ленты на берёзах и кто-то вдалеке смеётся, мелко, счаст-

ливо, как ручей на перекатах. Всем селом собрались на окраине поляны, где парни уже складывали дрова и ветки для большого костра, а все остальные садились полукругом поодаль, на траву, на расстеленные рушники, для неспешных разговоров. Костер ещё не зажгли, но дрова уже темнели на фоне красноватого неба, готовые вот-вот вспыхнуть.

- Давным-давно, когда меня ещё не было - начала рассказ самая старая бабушка Аграфена, которой уже за сто лет перевалило - и моей бабушки не было, и моей прапрабабушки не было, и даже пращурки моей не было. В Нави, глубоко под землёй, в самой чаще где змеиные тропы сходятся в перекресток, где сумрак никогда не рассеивается, стоял камень. Не простой, не из тех, что в горах находят, а особый, ровесник самого мира. Место вокруг было глухое, тихое, только змеи клубились у подножия, сворачивались кольцами, грелись о гладкую поверхность. Сюда изредка заходили души тех, кто потерял дорогу даже во тьме, и, касаясь камня, на миг вспоминали свои имена, а потом снова забывали, уходя в никуда.

Камень был тёмный, почти чёрный, с прожилками, которые тускло светились в полумраке, словно вены земли. На нём, едва различимо, древним языком были вырезаны слова, и каждое слово, казалось, шевелилось, перетекало в другое, если смотреть долго. Говорили, что этот камень знал все голоса, что когда-либо звучали в Нави, и хранил их в своей глубине.

Многие читали те слова: духи умерших, старые змеи, что

выползали из трещин, и даже сам Великий Полоз, когда проползал мимо, задерживался, вглядываясь в письма. Но только когда он, владыка Нави, однажды прочитал предсказание вслух, камень раскололся надвое с глухим, протяжным стоном, и из его нутра вырвался голос, тонкий, как трещина на зимней реке. И повторил он написанное:

«Тот, кто не спит, услышит во сне,

Ту, кто поет ему в снах

Если не отведешь взгляд - не замерзнешь больше.

Если отведешь - то жди ещё тысячу лет»

И с тех пор камень лежит расколотый, а змеи не подползают к нему близко, только издали смотрят, жёлтыми глазами мерцают, и души обходят его стороной, потому что в трещине той, говорят, до сих пор звучит тот самый голос, что предрёк Полозу судьбу.

Бабушка Аграфена замолчала, обвела всех мутными глазами.

— Это про него, про Великого Полоза. Сердце у него ледяное, веками не тает, не знает жалости, не ведаёт тепла. Даже свои слуги, что в Нави обитают, души неприкаянные да змеи ядовитые, и те его боятся. Лишний раз стараются на глаза не попадаться, прячутся в щелях, за камнями, в корнях старых деревьев. Потому что взгляд его, как остриё копья, а дыхание, как стужа в самую лютую зиму. Ползает он по своим владениям один, и никто вслед смотреть не смеет. Но говорили знающие, что сможет он отогреть своё нутро только

со своей невестой, той, чей голос он слышит во снах, той, что поёт ему колыбельную. Только она сможет стать его женой. Но её надо найти. И потому каждый год, в день Живы, когда всё просыпается, он выходит. Ищет среди девушек тот самый голос.

Старуха помолчала, будто прислушиваясь к чему-то. В наступившей тишине слышно было, как потрескивает разгорающийся костёр, бросая оранжевые блики на лица сидящих вокруг. Девушки притихли, парни перестали перебрасываться словами, даже малые дети замерли, глядя на бабу Аграфену широко раскрытыми глазами. И только сухие ветки в огне пощёлкивали, да изредка искры взлетали к темнеющему небу.

- Спи, змей мой, в ночи глубокой,

Звезды светят с высоты.

Сердце стынет одиноко,

Ждёт родной лишь теплоты.

Спи, не бойся, я здесь рядом,

Оберну тебя теплом.

Отогрею нежным взглядом,

Станешь ты моим царём.

Голос её дрожал, как струна. А где-то далеко, за берёзами, в сумерках, что-то шевельнулось, и по земле прошёл холодок, не злой, но древний, глубокий, будто сама Навь напомнила о себе.

Аграфена оглядела всех, чуть улыбнулась, морщины на её

лице разбежались тонкими лучиками.

— Ну что, девицы, обычай-то помните? — произнесла негромко, но так, что слышно стало каждому. — Каждая должна спеть любую свою любимую песню, чтобы он, Великий, послушал. А вдруг есть среди нас та, кого он выберет? — и она улыбнулась беззубым ртом.

По рядам девушек пробежал тихий шепоток, кто-то смущённо потупил взор, кто-то, наоборот, выпрямил спину, поправив ленту в косе.

Глава 16

Вокруг костра собралось много народу. Парней было больше обычного, пришли из соседних сёл, из дальних деревушек, что за лесом, за рекой. Все нарядные, рубахи белые, пояса цветные, у кого шапка набекрень, у кого ус чёрный закручен. Стоят кучками, переглядываются, на девушках глаз останавливают, шепчутся, смеются украдкой.

Среди них выделялся один, свой, знакомый: Добрыня, сын кузнеца. Высокий, плечистый, с открытым и добрым лицом. Он то и дело посматривал в сторону Жданы, но подойти не решался.

А не далеко от него стоял другой. Незнакомый. Пришёл из соседнего села, а может, и издалека. И сразу бросался в глаза, хоть и держался чуть поодаль. Росту высокого, стройный, плечи широкие, кисти рук тонкие, но сильные, жилистые. Чёрные длинные волосы собраны в хвост на затылке, и ни один не выбивается, гладкие, как смоль. Глаза большие, чуть приподняты к вискам, миндалевидные, тёмные, почти чёрные, и взгляд тяжёлый, пронзительный, будто насквозь видит. Нос прямой, чуть длинноватый, с тонкими крыльями, и в этом чувствовалась какая-то хищная порода. Брови чёрные, густые, вразлёт, скулы высокие, точеные, а губы тонкие, чётко очерченные, бледные. Кожа бледная, лунная, не то от болезни, не то от рождения.

И шрам, грубый, в палец шириной, начинается на левом виске, идёт через глаз, рассекает бровь, проходит по скуле и уходит в угол губ. Из-за него левый угол губы чуть приподнят, и кажется, что он всё время слегка усмехается, хотя лицо остаётся серьёзным, даже суровым.

Никто из парней к нему не лез, и сам он ни с кем не заговаривал, только смотрел. Смотрел на костёр, на берёзы, на девушек, и особенно часто, на Ждану. Не как на Хозяйку погоста, а просто на девушку. Взгляд его был пристальным, но без страха, с каким-то тяжёлым любопытством.

Добрыня тоже не сводил с неё глаз, открыто, тепло. Но этот, незнакомец, смотрел иначе: будто что-то примерял.

А на Ждану то и дело взгляды бросали и другие парни, с интересом, с любопытством. Она привлекала их своей stature: невысокая, тонкокостная, но с такой ладной, живой походкой, что любо-дорого смотреть. Огонь в зелёных глазах, то вспыхивающий, то задумчивый, каштановая коса с зелёной лентой, что падала ниже пояса, да лёгкая улыбка, тёплая, как первый луч солнца. И веснушки на чуть курносом носу, и ямочки на щеках, и та седая прядь у виска, что загадочно серебрилась при свете костра. Никто не думал сейчас о том, кто она и чем занимается в своей избе у погоста. Просто девушка как девушка, только краше многих, и смотреть на неё, одно удовольствие. Парни перешёптывались, улыбались, но подойти не решались, смущались. По очереди пели девушки. Костер разгорался всё ярче, бросая тёплый свет на

их лица, на вышитые рубахи, на цветные ленты в косах. Первые голоса звучали робко, но постепенно смелели. Одна, с чёрной косой и глазами васильковыми, затянула громко, задорно, так что парни заулыбались и притопывать начали.

Другая, потише, смущённо опустив взгляд, выводила грустную мелодию, и голос её дрожал, как первая льдинка на весенней реке. Третья и вовсе не пела, а напевала себе под нос, будто самой себе, закрыв глаза, и в этом напеве было что-то древнее, от прабабок переданное. А потом пришёл черёд Лады. Она поправила косу, с синей лентой, вышла на середину круга. Глаза её смеялись, но не озорно, а как-то особенно, с загадкой. И пока другие девушки перешёптывались, ожидая, она взяла не высокую ноту, а низкую, грудную, и завела плясовую, задорную, но с хитринкой:

Как у нашего села,
За рекой трава густа,
Там кузнец ковал коня,
А я милого ждала.

Она пела и не сводила глаз с молодого парня, что стоял, прислонившись плечом к берёзе. Был он русоволос, с веснушками во всё лицо, Милован. Лада глядела на него, и в её взгляде читалось то, что она не решалась сказать вслух. А он улыбался, прятал улыбку в кружке с квасом, но тоже смотрел только на неё.

Ты кузнец, да я не конь,
Ты огонь, да я не тронь,

А как вечер, выходи,
Подальше от людей сиди.

Девушки заулыбались, захихикали, хлопая в ладоши в такт, а Лада, допев до последнего куплета, притопнула ногой.

Когда все от пелись, затихли, только костёр потрескивал да легкий теплый ветер чуть шевелил ленты на берёзах. И тогда все головы повернулись в сторону Жданы.

— Жданушка, твоя очередь, — молвила девица с рыжей косой и румяными щеками, которую звали Милава. — Знаем, не любишь ты подобное, но обычай есть обычай. Не думаю, что Полоз слушает, не может же он успеть во все места, где праздник проводят, но всё же спой. Мы любим слушать твой голос, а ты так редко бываешь с нами.

Она поправила косу, улыбнулась, и в глазах её, смешливых, светилось тепло. Другие девушки закивали, зашептались -Спой, Жданушка, порадууй.

Ждана помолчала, опустила глаза, тронула пальцем край фартука. Потом подняла голову, и в её взгляде, зелёном, глубоко, словно омут, что-то дрогнуло.

— Хорошо, — сказала тихо. — Спою.

И запела. Голос её был негромким, но в наступившей тишине его слышали все. Он плыл над поляной, тёплый, медовый, чарующий, как летний вечер, когда солнце уже село, а земля ещё хранит тепло. Девушки замерли, парни перестали перешёптываться, даже малые дети, игравшие, притихли, прижались к матерям.

А и сон-трава, а и сон-трава
Распустила лепестки синие.
Кто сорвёт её, кто поймёт её,
Тот увидит сны, что не снятся мне.

Голос вился, как дымок от костра, касался каждого, заставлял сердца биться по-иному, глубже. У многих девчат на глаза навернулись слёзы, и они не вытирали их, не стыдились, потому что слёзы те были светлые, как роса на заре. Парни, стоявшие поодаль, опустили глаза, кто-то вздохнул глубоко, будто вспомнил что-то давнее, почти забытое.

Добрыня смотрел на Ждану, не отрываясь, и в его взгляде, кроме восхищения, проступило что-то щемящее, трепетное. А у незнакомца левая бровь, рассечённая шрамом, чуть приподнялась.

А и сон-трава у реки росла,
Унесла вода лепестки синие.
Кто найдёт её, кто вернёт её,
Тот услышит то, что не сказано мне.

Ждана пела, чуть покачиваясь, и ветер, будто вторя ей, тихо перебирал ленты на берёзах. Костер трещал, но его треск не мешал, а наоборот, сплетался с мелодией в единый, первозданный звук. Когда она замолкла, тишина ещё долго стояла над поляной, никто не смел пошевелиться, чтобы не нарушить то волшебство, что соткал её голос.

Первой очнулась Лада. Она шумно выдохнула, вытерла глаза и сказала, не таясь:

— Ну, Жданушка, ты и умеешь... Заслушаешься, и забудешь, где ты, а временами и кто ты.

По кругу прошёл тихий вздох, люди зашевелились, заговорили, но вполголоса, будто боясь спугнуть что-то. А незнакомец так и стоял, вглядываясь в Ждану из полумрака, и левый угол его тонких губ чуть заметно дрожал.

— Костер, костер! — верещали дети, прыгая вокруг, размахивая ветками, но никто на них не сердился, потому что в Живин день даже самый громкий крик казался частью праздника.

А молодежь меж тем переглядывалась, шепталась, посылала друг другу улыбки. И вот первые пары пошли. Парни брали за руку ту девицу, что приглянулась, и, если она руку не отнимала, не отворачивалась, значит, согласна. Иные, самые смелые, подхватывали девушку на руки, прижимали к груди, и она, смеясь, обвивала шею парню. И тогда, разогнавшись, вдвоём, держась за руки, либо неся свою суженую, они прыгали через уже высокий костер. Искры взлетали до небес, и кто-то из стариков пояснял малышне, что это не просто забава, а знак.

В этот день, перепрыгнув пламя вместе, парень и девушка объявляли всем, что начинают пору «узнавания», время, когда они могут встречаться, гулять, разговаривать, присматриваться друг к другу, чтобы понять, подходят ли для семьи. Длилась эта пора три месяца, до конца лета. А если за лето пара не распадалась, то наступал период жениховства: месяц,

когда они уже считались женихом и невестой, готовились к свадьбе, дарили подарки, а родители обсуждали приданое.

— Гляди-ка, гляди, — толкнула Лада Ждану локтем, показывая на пару, что с визгом и смехом перелетела через огонь. Ждана молча улыбалась, смотрела на чужую радость, и на душе у неё было тепло и чуть тревожно, как перед грозой.

А Ладу уже тоже ждали. К ней подошёл Милован, протянул руку, и она, открыто улыбнувшись, вложила свои пальцы в его широкую ладонь. И они побежали к костру, к огню, к счастью.

Ждана повернула голову в сторону и увидела, что к ней направляется Добрыня. Сердце ёкнуло, но не от радости. Парень хороший, добрый, красивый, но не для неё. Она нахмурила брови, хотела уже шагнуть назад, уйти в тень, как вдруг из-за берёзы, что росла совсем рядом, шагнул незнакомец.

Тот самый. С чёрным хвостом, с тяжелым взглядом, с шрамом через всё лицо.

Он не спросил, не протянул руку, не улыбнулся. Резко присел на корточки, подхватил её под колени, и не успела она ахнуть, как оказалась у него на плече, носом к широкой спине. Он выпрямился, как медведь, и большими шагами направился прямо к огню.

— Отпусти! — закричала Ждана, заколотила кулаками по его спине, по твёрдым, как камень, лопаткам. — Пусти, окаянный!

Но он не слушал. Только усмехнулся краем тонких губ, и шрам на его лице чуть дёрнулся. Ноги его неслись вперёд, не сбавляя шага, а вокруг уже ахали люди, расступались, давая дорогу. Девушки замерли с открытыми ртами, парни при-свистнули, а старуха Аграфена, сидевшая недалеко от костра, вдруг замерла и прошамкала: «Глядите, глядите, что делается-то...»

И в тот самый миг, когда они достигли края огня, Ждана перестала биться. Какая-то странная, дурманящая слабость разлилась по телу, и она только успела краем глаза увидеть, как внизу, под ногами незнакомца, полыхнуло пламя.

Всё. Искры взметнулись до самых звёзд, костёр загудел, заревел с утроенной силой, полыхнув в несколько раз выше, чем горел до этого. Языки пламени вытянулись, будто кто-то невидимый подбросил в огонь целую охапку сухой смолы, и жар обдал всех, кто стоял близко. Люди отшатнулись, кто-то вскрикнул, кто-то пригнулся, закрывая лицо руками, а дети и вовсе попятились к берёзам, прижались к матерям. Даже самые смелые парни отступили на шаг, щурясь от нестерпимого света.

Незнакомцу же, не составило никакого труда перелететь через полыхающий костёр с Жданой на плече, будто пламя для него было просто дорогой. Он приземлился на другой стороне, плавно, без рывка, и аккуратно поставил её на ноги в мягкую траву, почти нежно, будто она была хрупкой вещью.

Она подняла на него глаза, злые, мокрые, и хотела что-то сказать, как вдруг заметила: костёр, который только что ревел, успокоился, стал обычным, ровным, и все вокруг смотрели на них. Кто с любопытством, кто с испугом, кто с открытым ртом, а кто и вовсе отвёл взгляд. Дети притихли, парни переглядывались, не зная, то ли заступиться, то ли похвалить за удачу, а девушки шептались, прикрывая ладошками губы. Лада прижала руки к груди, Добрыня так и замер с протянутой рукой, а незнакомец стоял над Жданой, возвышаясь едва ли не на полторы головы, так что ей приходилось заирать лицо, чтобы видеть его глаза. Он был намного выше, она доставала ему до плеча. И он, чуть склонив голову, смотрел на неё сверху вниз, и в его тёмных, чуть приподнятых к вискам глазах не было ни торжества, ни насмешки.

— Ты... — выдохнула Ждана, не зная, как ругаться. Дело-то уже сделано. Вон и девушки шепчутся, и парни свистят. А он молчал. И только левый угол губ, тот, что был приподнят шрамом, опять дрогнул, но улыбкой это назвать было нельзя.

Глава 17

Не устояв на ногах от случившегося Ждана опустилась на траву, попыталась встать, отряхнуть рубаху, но незнакомец вдруг наклонился, подал руку, бледную, с тонкими сильными пальцами. Ждана глянула на его ладонь, потом на него, прищурилась, но руку приняла. Ладонь его оказалась холодной, но сухой и крепкой. Он помог ей подняться, не спеша, бережно, и сразу отпустил, отступил на шаг.

— Не бойся — произнёс он. Голос его был тихим, чуть шипящим, каждое слово вбивалось в уши маленькими холодными иглами, заставляя внутренности сжиматься. — Не обижу.

— Я и не боюсь — ответила Ждана, поправляя ленту в косе, хотя внутри всё похолодело. — А ты... кто ты таков?

Он не ответил, только посмотрел на огонь, и пламя в костре снова дёрнулось, будто кланялось ему. Потом перевёл взгляд на неё, и в глубине его тёмных, глаз мелькнуло что-то, чему она не смогла найти названия. Не насмешка, не злоба, а древняя, всезнающая пустота.

— Гость, — сказал он наконец, и это слово почему-то прозвучало тяжелее, чем признание. — Из дальних мест. Захотел поглядеть на праздник.

— И сразу к девушкам подходить? — усмехнулась Ждана, стараясь не показывать, как ей не по себе. — А спросить

нельзя было? Почему ко мне-то?

Он помолчал, и ей показалось, что даже костёр затих, не смея трещать. Его тёмные глаза смотрели не мигая, и в них, в глубине, что-то мерцало, как далёкий огонёк в ночи.

— Твой голос — произнёс он, и голос его, тихий, с едва уловимым шипением, обдал её холодом. — Но не только голос. Я увидел тебя раньше. Ты была... как искра среди золы. А потом ты запела, и я понял: искать больше не надо.

— Что значит «искать»? — спросила Ждана, чувствуя, как по спине бегут мурашки.

Он не ответил, только чуть склонил голову, и левый угол губ, приподнятый шрамом, дернулся.

— Я Угор. Запомни. Жди в гости, приду.

— Угор? — переспросила она, чувствуя, что имя это чужое, нездешнее, но красивое, как горная река. — Не слышала такого.

— Теперь услышала.

— Зачем в гости? — вырвалось у неё, хотя она уже знала ответ.

— По обычаю — сказал Угор, и в его ледяном голосе впервые проскользнуло что-то тёплое, неуловимое, как отблеск пламени на снегу. — Три месяца. Три месяца узнавания и встреч. Так велит закон.

— Не просила я этого! — воскликнула Ждана, но он уже развернулся и шагнул в темноту, за край поляны.

— Ты не просила, — донеслось из сумрака, — Я, так за-

хотел.

И исчез, будто его и не было. Только холодок ещё струился по земле, да костёр вздохнул, выбросив в небо сноп искр.

Ждана осталась стоять, глядя вслед. Сердце колотилось где-то у горла. Она обвела взглядом поляну и заметила, как изменилось к ней отношение парней. Ещё недавно они бросали на неё заинтересованные взгляды, перешёптывались, улыбались. А теперь смотрели иначе: с уважением, но отстранённо, будто она вдруг стала чужой, занятой. Никто не подходил, не пытался заговорить. Только Добрыня стоял в стороне, опустив глаза, и крутил в руках сухую ветку, ломая её на мелкие куски, и взгляд его, из-под нахмуренных бровей, был тяжёлым, почти злым, но не на Ждану, на себя.

— Вот так — подумала Ждана с внезапной горечью. — Перепрыгнул через костёр, и все решили, что я теперь его. А мне что, и слова не дано?

Она поправила косу, и пошла к Ладе, стараясь не замечать, как провожают её спину. А в ушах всё звучало: «Угор». Чужое имя, холодное, как его ладонь. И обещание: «Жди в гости. Приду».

— Жданушка, кто это? — подошла к ней Лада с другими девушками, округлив глаза, и голос её дрожал от любопытства и лёгкого испуга.

— Сама не знаю, — ответила Ждана, провожая взглядом тень, что уже растаяла за берёзами. — Первый раз увидела. Хотя он говорит, что видел меня раньше. Не знаю где. Я-то

много куда ездила за душами, может, где в селе и приметил.

Она растерянно повела плечами, поправила сползшую ленту в косе, а Лада и девушки переглянулись, зашептались, поглядывая на тёмный лес, где скрылся странный гость.

— Добрыню жалко — произнесла Милава, кивнув в сторону парня, что стоял у берёзы. — Вон как теперь мучается. Всю берёзу уже ободрал, будто она виновата, что он не успел. Злой какой, первый раз его таким вижу.

Девушки поглядели на Добрыню. Он стоял, опустив голову, и рвал с берёзы кору длинными полосами, не глядя, не останавливаясь, и лицо его, обычно такое доброе, сейчас было хмурым, чужим. Он не замечал, как кора царапает пальцы до крови, и ни разу не поднял глаз на Ждану, словно боялся увидеть то, что сделает ещё больше.

— А как тут не злиться? — ответила Лада, вздохнув. — Он на нашу Ждану уже год как поглядывает, всё ждал этого праздника. Думал, раз силён, из местных никто не посмеет с ним соперничать. А оно вон как вышло... не местный.

Ждана молчала, не зная, что ответить. Только смотрела на потемневшую берёзу, на Добрыню, на яркие ленты, что всё ещё шевелились на ветру, и чувствовала, как праздник потихоньку уходит, оставляя после себя не только радость, но и тревогу.

— Да подождите — молвила Ярослава, светлая девушка с русой косой, что падала на грудь, и милой, чуть лукавой

улыбкой. Она стояла поодаль, прислонившись плечом к берёзе, и тонким пальцем накручивала колечко волос у самой шеи, то отпуская, то снова закручивая, будто размышляла о чём-то своём. — Это ещё не свадьба. Три месяца пролетят, и всё. А замуж-то не обязательно. Вот пообщаешься с этим незнакомцем и поймёшь: точно не твоё.

Она закончила с тёплой, ободряющей улыбкой, и в глазах её светилось что-то материнское, хотя сама она была немногим старше Жданы. Девушки закивали, заулыбались, а Лада облегчённо вздохнула, будто гора с плеч свалилась.

-И то верно- выдохнули все.

Глава 18

Утром, как всегда, проснувшись рано, едва солнце появилось из-за горизонта, Ждана села на постели, потянулась, взяла в руки гребень и начала в задумчивости расплетать косу.

Расчесавшись, проведя гребнем по густым каштановым волосам с медным отливом, пока они не засветились мягким блеском, она заплела косу заново, ловко перебирая пряди, и перекинула её через плечо, чтобы не мешалась. Потом одела рубаху. Рубаха была льняная, небелёная, мягкого серовато-бежевого цвета, как кора молодой берёзы. По вороту и рукавам шла вышивка красной и коричневой нитью: простые ромбы да косые кресты, оберегающие хозяйшку от дурного глаза и лихой беды. Подол украшал змеиный след, волнистый, едва заметный.

Поверх надела фартук тёмно-зелёный, цвета мха в сосновом бору, с вышивкой жёлтой нитью по карману — маленькие птицы, летящие к солнцу. Такой фартук не пачкался, и в нём удобно было и по дому хлопотать, и за травами ходить.

Ждана заварила травяной чай, налила в глиняную кружку и задумчиво вышла на крыльцо. Солнце уже поднялось, брызгало светом по мокрой от росы траве, золотило верхушки берёз.

— Ну рассказывай, что так тебя тревожит — произнёс во-

рон. Масяня сидел на перилах, голову набок склонил, жёлтым глазом блеснул.

Травинка, греющаяся на пригретой доске, согласно кивнула своей головой, высунув розовый тонкий раздвоенный язык, будто тоже хотела спросить.

Ждана вздохнула, отхлебнула чаю и посмотрела на светлую, ещё утреннюю даль.

— Сама не пойму, — ответила она негромко. — Всё как-то не так. Праздник прошёл, а на душе осадок. И этот Угор. Что ему надо? Говорит, искать надо, а что искать?

— Угор? Это кто? — Ворон перелетел поближе. — Если я правильно всех запомнил, в селе у нас таких нет.

Ждана вздохнула, отставила кружку.

— Я и сама не знаю. Говорит, из дальних мест.

Масяня нахохлился, каркнул коротко, но ничего не сказал, только перья распушил, будто ему стало холодно.

А Травинка, которая до того грелась на солнышке, вдруг замерла, как под гипнозом. Застыла, даже язык не высунула, и смотрела, не мигая в одну светлую точку, где солнечный луч пробивался сквозь листву берёзы. Глаза её, жёлтые, узкие, расширились, и она не шевелилась, будто почуяла что-то невидимое, недоступное ни ворону, ни Ждане.

Потом моргнула и подползла к Ждане.

— Что? — Ждана смотрела на неё, чувствуя, как внутри закрадывается холодок. — Что-то сказать хочешь?

Травинка залезла к Ждане на колени, приподнялась на

хвосте, замерла и зашипела, долго, настойчиво, выпуская тонкие струйки воздуха, и в этом шипении слышалось что-то пугающее, не терпящее возражений.

Ждана бледнела на глазах. Губы её сжались, глаза расширились, и она невольно отшатнулась, будто слова змеи ударили её наотмашь.

— Что? Что там? Что она говорит? — занервничал ворон. Он запрыгал вокруг Жданы, хлопая крыльями, перелетал с места на место, не в силах усидеть на одном месте.

— Говорит, что Хозяина Нави, Полоза, тоже зовут Угор — выдохнула Ждана. — Что это... его имя.

— Не может быть — каркнул ворон, и в голосе его впервые за долгое время проскользнул страх. — Хотя о чём я? С нашей Жданой всё может быть. Но не надо... не надо того, о чём мы сейчас все думаем.

Он умолк, съёжился, а через миг снова взметнулся, прыгая возле Травинки и громко каркая:

— Ты знаешь, какой он Угор? Как он выглядит? Можешь его описать? Глаза, рост? Да говори же, червяк переросток, не молчи!

Травинка глянула зло на ворона и повернулась к Ждане, зашипела, глядя на неё и тело её, зелёное, гибкое, вдруг вытянулось, будто пыталось изобразить нечто огромное, необъятное.

— Что там? Ну что там? — Масяня уже клевал Ждану за фартук, дёргал, нетерпеливо переступал с лапы на лапу. —

Ну чего молчишь-то?

Ждана молчала, глядя на змейку, и лицо её становилось всё бледнее, будто солнечный свет вдруг перестал её касаться. Травинка шипела, и в этом шипении слышалось нечто древнее, ледяное, от чего воздух вокруг стал гуще, тяжелее.

— Говорит — наконец выдохнула Ждана- что самый длинный белый змей, которого она видела. Белая кожа, как лунный свет на инее, а по ней чёрный рисунок, будто кто-то углём начертил письма, которых никто не может прочесть. Глаза тёмные, глубокие, как провалы в бездну, и когда смотришь в них, забываешь, кто ты. Ооооочень длинный, говорит, такой, что если б он вытянулся во всю свою длину, то обвил бы всю Навь, от края до края.

Она замолчала, судорожно вздохнула.

— Всё. Больше ничего. Не видел его из сейчас живущих в человеческой ипостаси. Никто.

Ворон замер, перестал клевать, притих. Перья его встали дыбом, и он вдруг показался меньше, чем был, съежился, будто холод пробрал его до костей.

— Так это... — прошептал он. — Это не значит, что это он...Этим именем могли назвать и человека....Мы же не знаем в других селениях какие традиции и откуда он пришел.

Травинка опустила голову, уползла в угол крыльца, свернулась тугим кольцом и замерла, даже язык не высывала. Только изредка кончик хвоста вздрагивал, будто ей ещё что-то хотелось сказать, но она не решалась.

А Ждана стояла, глядя на светлеющее небо. Вспомнила, как Угор ушёл в лес, а не в сторону дороги, что ведёт к другим сёлам. Не к людям ушёл, не к родне, а в самую чащу, туда, где тропы теряются и только звери ходят. Сердце её сжалось, и она почувствовала, как в груди поднимается что-то, чему не могла дать имени. Не страх. А древнее, первозданное знание: то, что должно было случиться, уже началось.

— Поживём, увидим — пробормотала она тихо, будто сама себя уговаривала. — Узнавания это вам не свадьба, как подруги сказали. Так что живём, как всегда.

Она хлопнула в ладоши, распрямила плечи, сбрасываяनावждение.

— Всё! За работу! Сегодня много надо сделать.

И шагнула в избу.

Сегодня Ждана планировала приготовить отвар для памяти. Для стариков. Он не возвращал утраченное, не лечил того, что уже стёрлось навсегда, но помогал держать то, что ещё оставалось. Хранил имена внуков, запах хлеба из родной печи, голос матери, ушедшей много лет назад. Такие вещи, что нельзя купить, нельзя вымолить, можно только удержать на самом краю, как жар в остывающей золе.

Она набрала коры дуба, старого, крепкого, у которого память корней уходит глубоко в землю, почти в Навь. Отмерила нужное количество, бросила в глиняный котелок, залила ключевой водой и поставила в печь, придвинув поближе к огню. Сама села рядом на лавку, обхватила колени руками и

запела негромко, в такт лёгкому кипению:

Память в сердце заходи,
Слово к слову приведи.
Вспомни, дед, отцовский дом,
Где ходил ты босиком.
Течёт вода, течёт вода,
Травы сохнут у плетня.
Кто забыл свои года,
Пусть припомнит их, любя.
Дуб даёт кору, как нить,
Жар её не перебить.
Что в котле, то не сгорит,
Кто испил, тот не забыт.
Огонь-батюшка, не жги,
Корни древние сбереги.
Пусть кружится, пусть кипит
Взвар, что память сохранит.

Пела, покачиваясь, и вода в котелке вздыхала, кипела медленно, набирая силу коры, трав, тишины. Масяня примостился на печи, щурил глаз, Травинка свернулась в углу, и в избе стало так спокойно, что, казалось, даже время замедлило свой бег.

Отвар был готов. Ждана наклонилась к нему, подхватила тряпицей край горячего котелка, достала с печки, осторожно, чтобы не обжечься. Приоткрыла крышку. Пар хлынул в лицо, пахнуло дубом, мятой, чем-то древним и горьким. Она

понюхала, довольно улыбнулась, всё как надо, в самый раз.

И тут, заглянув в тёмную глубину отвара, она чуть не выронила котелок из рук. Со дна, из густой мути, на неё смотрел Угор. Не моргая. Глаза его, тёмные, бездонные, пронзали сквозь воду, сквозь пар, сквозь самую тишину. Ждана вскрикнула, резко поставила котелок на стол, расплескав часть на деревянную столешницу. Бурый отвар зашипел на горячем дереве, разбежался тёмными каплями, и в каждой из них, показалось, мелькнуло что-то живое, змеиное.

Переведя дух, она заглянула в котелок снова. Отвар как отвар, гладкий, тёмный, только на самой середине плавает, медленно раскручиваясь, скрученный чёрный волос. Длинный, тонкий. Она протянула руку, хотела его выловить, но замерла, услышав тихий, шипящий, почти ласковый голос из самого нутра котла:

— Жди.

Ждана отпрянула, прижала ладони к груди. Масяня на печи встопорщил перья, каркнул испуганно, а Травинка зашипела в ответ.

А голос повторился, уже тише, едва слышно, как шорох чешуи по камню:

— Жди. Скоро приду.

И волос на поверхности отвара исчез, будто его и не было. Только тёмная гладь воды, да запах трав. Ждана стояла, не дыша, а на столе, в лужице расплёсканного отвара, матово блестел кусочек белой змеиной кожи. И от него тянуло та-

ким холодом, что, казалось, весна на миг отступила, уступив место древней, подземной стуже.

Глава 19

Травинка метнулась к двери, что-то тревожное происходило по ту сторону. Ждана напряглась, вытерла руки о фартук, и первая мысль, что пришла в голову — Угор? Неужели пришел, как и обещал? Нет, не хочу, - метнулось в ее голове.

Нет.

За дверью был клубок змей, что жили на погосте. Сейчас они извивались, и шипели, волновались, и в этом шипении, густом, мокром, как трава перед грозой, когда воздух уже не движется, а только стелется по земле тяжелым, сырым облаком, Ждана еле разобрала:

— Ночные. К своим могилам привязаны. Чужие. — шипели змеи.

Ждана встала в оцепенении. Где на старом погосте? Там давно никого не хоронили и давно туда никто не ходил. Или ходил? Почему мертвые встали? Сколько их? Когда встали? Село-то в часу ходьбы, ведь могут и до него добраться.

День на дворе. Ждана понимала, что возможно успевает к закату и дойти, и увидеть, и упокоить всех тех, кто там был. Солнце ещё стояло высоко и слепило, воздух над землей дрожал, будто плавился. Тени от берёз вытягивались длинные, костлявые, как пальцы, тянущиеся к чему-то невидному. Но вот сколько их там было? Если несколько, то успевает, а если несколько десятков, а то возможно и всё кладбище, то беда

большая будет.

Вместо жёлтого фартука Ждана достала из сундука другой. Темно-зеленый, крапивный, но мягкий от времени. Пахнущий сухими стеблями и чем-то горьким, давним. По его подолу алым огнём горели вышитые знаки, волны берегинь, удерживающие границу мира. На груди, в ворохе давящих символов, особенно выделялся знак «одолень-травы», самый сильный оберег от нечисти.

-Волхва поблизости нет, — подумала Ждана, затягивая узел на поясе. — Ни в нашем селе, ни в соседних. А упыри к закату поднимутся, и тогда беда. Я кол вбить умею в пустое тело, не впервой. Там души нет, одна муть, а кол осиновый сам войдет, как по маслу. Только если который после заката из могилы вылезет... тут уж не знаю. Не учили меня с ходячими воевать. Но не оставлять же их, верно? Надо успеть.

Собрав узелок, Ждана пошла быстрым шагом, чтобы успеть как можно больше сделать. Ветер притих, будто тоже ждал, только изредка тянул холодком из чащи, и тот холодок пах гарью и прелью, будто что-то гнилое загорелось и дымит под землей. Масяня летел впереди, чтобы осматривать сверху все что происходило внизу, и иногда он каркал коротко, тревожно, как сухая ветка ломается. Травинка высывалась из кармана, язык её пробовал воздух и горький, и с холодком из леса, и ещё какой-то тошнотный, от которого нутро сжималось. Другие змеи скользили в траве. Бесшумно, но густо, как живая вода текла за Жданой. Не могли они оставить ее

одну. И от этого на душе становилось чуть легче, хотя впереди, за поворотом, уже чуялось недоброе, приторный дух, от которого нутро сжималось и хотелось дышать реже, тише, чтобы не привлекать внимание.

Практически добежав до старого погоста, Ждана остановилась, чтобы отдышаться. Сердце колотилось где-то в горле, в груди жгло, а воздух, сырой, тяжёлый, с привкусом сладковатого, гнилостного, никак не хотел наполнять лёгкие. Масяня кружил наверху, коротко каркая:

— Там несколько могил раскопанных, - прокаркал он и тут же замолк, будто сам испугался того, что увидел. Ждана двинулась в ту сторону, в которую показывал Масяня.

— Все проверяем могилы — произнесла Ждана громко, и голос её прозвучал глухо, будто земля уже начала его забирать. — Одна я не успею весь погост проверить. Помогайте, помощники.

Масяня продолжал кружить сверху, хлопал крыльями, бесшумно, только изредка каркал, коротко, отрывисто, как щепку ломал. Травинка и другие змеи расползлись в стороны, скользнули по сырой траве, по взрытой земле, по мхам и корням, пока Ждана готовила всё для ритуала. Она достала из узелка горшочек с живым огнём, тем самым, что всегда стоял у порога её избы, поставила его на землю у входа на погост, приоткрыла крышку. Огонь тонко загудел, привычно, и по влажной траве побежала невидимая черта, замкнула кладбище в кольцо, чтобы ни один упырь не смог выйти,

пока огонь горит.

-На души такое действует, — подумала Ждана, глядя, как стелется дымок. — А на мёртвые тела, на упырей? Не знаю, может, и не держит их вовсе. Но попробовать стоит, хуже не будет.

Она развязывала еще один узелок дрожащими пальцами, раскладывала полынь, проверяла осиновый кол. Змеи успели всё посмотреть: ткнулись головами в каждую воронку, обползли каждый холмик, ткнулись в разломанные домовины. И когда собрались возле неё, наперебой зашипели, страшно, громко, как потревоженные осиные гнёзда, и в этом шипении Ждана уже не разбирала слов, только чувствовала: плохо. Очень плохо.

— Так, если я правильно вас всех поняла, то трое, трое упырей, — она подняла руку к лицу, чуть прикрыла ладонью глаза, посмотрела на солнце. Солнце висело уже ниже половины неба, не белое, а густо-жёлтое, с красноватым ободком, как больной глаз, и свет его стал тяжёлым, маслянистым, будто время замедлилось, поджидая закат.

— Должна успеть — произнесла она и пошла к дальней могиле, что ей показали змеи. Земля под ногами стала мягче, рыхлее, пахла прелым, и в этом запахе чувствовалось что-то живое.

— А вы продолжайте смотреть — сказала она всем, не оборачиваясь, — вдруг кого не заметили, и приглядывайте за солнцем, могу упустить этот момент.

Тени от берёз уже вытянулись на полянку, как длинные костлявые руки, и с каждой минутой становилось всё тревожнее.

Дойдя до дальней могилы, присела на корточки возле раскопанной могилы. Гроб-колода, из старого, почерневшего дуба, сбитый из цельного ствола, сужающийся к ногам, выглядывал из земли, как зверь из норы. Древесина обросла склизкой, тёмной слизью, грибок, что точит дерево в сырой земле, кое-где расселась трещинами, из которых сочилась влага, черная и маслянистая, как старая кровь. Запах стоял сладко-тошнотворный, пахло не просто землёй и гнилью, а чем-то приторным, как переспевшие ягоды на корню, которые уже начали бродить и гнить изнутри.

Аккуратно спустившись в могилу, встав ногами на колоду, Ждана зажгла полынью. Дым пополз густой, горький, перебивая сладкий смрад; она окурила себя и гроб, и в этом дыму чудилось, что земля под ногами перестала дышать. С трудом сдвинула крышку, та поддалась с протяжным, мокрым скрипом, будто кто-то застонал спросонья, и увидела...

Почти живой старик, лицо древнее, морщинистое, как старая береста, что веками лежала в сырой земле, но без следов гниения, ни пятна, ни гнили, только кожа серая, сухая, натянутая на скулы. Глаза открыты, красно-мутные, и в них ничего, кроме пустоты. Когда Ждана открыла крышку, он медленно поднял руку, костлявую, с длинными синими ногтями, пытаясь загородиться от света, от живого огня, что ре-

занул по его вековой тьме.

Ждана не мешкала. Быстро, одним движением, воткнула ему под рёбра осиновый кол, глухо хрустнуло, как ветка ломается под ногой, и упырь замер, только пальцы ещё несколько раз дёрнулись, перебирая воздух. Она положила ему на глаза медные монеты, тяжелые, старые, с истёртым узором, чтоб не смотрел вослед, чтоб путь забыл. Взяла венник с полыни что лежал рядом и начала окуривать еще раз, и дым пополз горький, густой, обволакивая гроб, и она зашептала, негромко, но внятно:

— Сердце забито, глаз не поднять,

Земля прими, не отпускать.

Осина в груди, монеты в глазах,

Век вам лежать в этих досках.

Дымом курю, словом креплю,

Встанешь, я приду, в землю вобью.

Спи, упырь, ветшай, гнии,

Не для тебя свет, не для тебя дни.

Дым вился, полынь трещала, и тело под колодой обмякло, будто из него вынули последнюю, самую тёмную жилку, и оно наконец перестало ждать. Ждана вытерла лоб, перевела дух и поднялась. Обсыпала солью вокруг гроба, положила две веточки полыни сверху, связанных красной нитью. Вылезла из могилы, тени от сосен ложились на землю длинными, кривыми пальцами. Осталось ещё двое.

Она пошла через погост, обходя покосившиеся голубцы,

переступая через замшелые корни. Трава под ногами была густой, упругой, и шелестела, пропуская Ждану. Змеи скользили впереди, указывали дорогу: вот так, сюда, не туда, а обойди. Травинка из кармана то и дело высывалась, пробовала воздух языком и кивала, туда, Хозяйка, туда. Где-то впереди, за берёзами, темнела нужная сторона.

Вторая могила была ближе к краю, рядом лебеда выше колена. Колода маленькая, короткая, почти детская. Ждана спустилась, откинула крышку, та поддалась легче, с хлипким треском, будто гниль уже съела дерево. Внутри лежал мальчик. Лет восьми, в истлевшей рубашонке, босой. Кожа не серая и не красная, а какая-то перламутровая, бледная, как луна сквозь туман. Глаза закрыты, ресницы длинные, тёмные. Лицо спокойное, даже умиротворённое, совсем не страшное. А губы, синие, чуть приоткрыты, и из уголка рта тянется тонкая чёрная ниточка засохшей крови.

Ждана замерла. Дышать стало трудно. Не от страха, от тоски. Ребёнок. Он и мёртвый, ребёнок. Она протянула руку, но не колоть, а погладить по голове, и в тот миг мальчик открыл глаза. Они были мутные, красные, и смотрели прямо на неё, но не видели. А потом он улыбнулся. Улыбка была не злая, не хищная детская, неумелая, только губы не слушались, застыли криво. И Ждана поняла: он так и остался ребёнком, просто мёртвым и неправильным.

Она вогнала кол в грудь, глухо хрустнуло, слабее, чем у старика, и мальчик обмяк, только пальцы на миг сжались в

кулак и разжались, будто хотел что-то удержать. Монеты на глаза, тяжелые медные, закрыли этот красный взгляд. Окуривание, полынь, дым. Шёпот тот же, слова те же.

— Спи, маленький. Не вставай. Уже не твоё это, ходить по земле.

Она обсыпала солью, положила веточки полыни, связанные красной нитью, и вылезла, не оглядываясь. Оставался последний. Третий.

Захоронения находились далеко друг от друга. Ждана теряла время, бегая между ними, сейчас она ясно понимала, что не успевает к третьей, но всё же бежала на другой конец погоста, с надеждой успеть. В груди жгло, ноги тяжелели, воздух стал сырым, липким, и тени от сосен уже почти слились с землёй.

Не добежав до третьей разрытой могилы, Ждана услышала, как громко и тревожно каркает Масяня. Он кружил над могилой, чёрный на багровом небе, и каркал так, что мороз по коже.

Ждана видела, что из неё выползает упырь. Взрослый мужчина, широкий в плечах, ещё не вылез до конца, но уже показался по пояс. Лицо его, без следов гниения, было бледным, как воск, глаза горели красным, теми же злыми углями, что и у первых двоих. Он не смотрел на неё, он выбирался, цепляясь длинными пальцами за край колоды, и каждый его медленное, тяжёлое движение выдёргивало из земли приторный, тошнотный дух. Ждана поняла: не успела. Но

останавливаться было поздно. Если его оставить, то он сможет за ночь поднять новых упырей, нельзя оставлять — думала Ждана, уже потихоньку подходя, держа в одной руке дымящуюся полынь, в другой кол, к упырю, который стоял на краю разрытой могилы и, ухмыляясь, смотрел на неё.

Солнце уже садилось, багровая полоска тлела на краю неба, точно уголёк, что никак не может остыть. И вдруг что-то изменилось. Воздух стал густым, холодным, будто невидимая рука опустила небесную крышку. Откуда-то из-под земли потянуло сыростью, какой не бывает даже после дождя, могильной, глубинной, от которой внутри всё обрывается и хочется зажмуриться, но нельзя.

Туман пополз из могил. Сразу из всех, из каждой разрытой ямы, из каждой трещины, из-под каждого камня. Он поднимался вверх, густой, холодный, липкий, и там, где он касался травы, она покрывалась инеем, а корни деревьев чернели, будто выжженные. Туман не стлался, он рос, вставал из-под земли, как дыхание самой Нави, и клочья его тянулись вверх, обвивали берёзы, цеплялись за ветви, и в этом медленном, неумолимом движении было что-то змеиное, голодное, древнее, от чего кровь стынет в жилах.

Тишина упала на погост. Не та, что бывает по ночам или в глухом лесу, когда просто нет звуков. А какая-то давящая, густая, будто сама земля затаила дыхание, боясь выдохнуть. Даже сухая ветка не хрустнула, даже лист не шевельнулся. И в этой тишине слышно было, как кровь шумит в ушах, как

сердце стучит, как где-то в груди закипает тошнотворный, беспомощный страх.

Даже упырь перестал ухмыляться. Замер, повёл носом, и в этом его движении чувствовалось недоумение, почти испуг, будто он почуял хищника сильнее себя, такого, перед которым не убежишь и не спрячешься, такого, что не пришёл, а всегда был здесь, под землёй, просто ждал своего часа. И от этого чувства даже нежить съёжилась, подобралась, забыв про свою ухмылку, забыв про Ждану, забыв про всё на свете.

И тут Ждана споткнулась. Не о корягу, не о камень обо что-то упругое, живое, что стелилось под ногами, как канат. Сердце её упало куда-то вниз, и она едва удержалась на ногах.

— Что это? — с ужасом произнесла она, опуская взгляд.

Ждана знала змей, она росла среди них, они не пугали её. Но этот... этот был не из её мира. От него веяло такой древней, холодной силой, что внутри всё оборвалось, а язык прилип к нёбу. Тело извивалось, поднимаясь выше травы, выше кустов, и уходило далеко, туда, где у старой сосны уже показалась голова, большая, почти с Ждану ростом. Белая, страшная, с глазами, что гипнотизировали, с огромными клыками, а само тело было в обхват толще её самой. И оно дышало, от каждого вздоха по погосту разносился холод, сырой, могильный, от которого деревенели пальцы и перехватывало горло.

Ждана хотела отступить, но ноги не слушались, приросли

к земле. Страх сковал её, как тот самый могильный холод, только глубже, только сильнее, так что дышать стало тяжело, а сердце, казалось, остановилось и ждало. Она только и могла, что смотреть на эту белую, нечеловеческую голову, которая медленно, очень медленно поворачивалась в её сторону. Глаза её, гипнотизирующие, уже нашли Ждану, посмотрели, не мигая, высунулся раздвоенный язык, и голова повернулась к упырю. Ждана осела на землю.

Рядом сгрудились в живой, дрожащий узел змеи. Они низко, почти в землю, опускали головы, не смея поднять взгляда, только изредка вздрагивали хвостами, да и то мелко, словно в лихорадке. Некоторые зарылись в траву, уползти не решаясь, только кончики тел подрагивали. А Масяня, тот вовсе перестал каркать, камнем упал с неба, чуть не свалившись Ждане на голову, неуклюже вцепился ей в плечо, царапая когтями ткань. Он был в каком-то полуобморочном состоянии: крылья растопырил, перья дыбом, и ни звука, только хриплое, частое дыхание. Ждану потряхивало всё сильнее, страх и холод, которого она никогда не ощущала, били её мелкой, противной дрожью, зуб на зуб не попадал, а внутри, где-то под рёбрами, всё сжалось в комок, будто ожидая чего-то ещё более страшного. Она не могла отвести взгляд от белого, извивающегося тела, а в голове стучала одна мысль: -Только бы не смотреть ему в глаза, только бы не смотреть...

Змей приблизил свою голову к упырю, навис над ним, как скала над пропастью. Жёлтые глаза сузились, и в воздухе

что-то дрогнуло, он сжался, замер, будто испугавшись дышать. Голос, низкий, шипящий, разнёсся над погостом, и от этого голоса даже тени заматались по земле, сисясь уползти подальше.

— Ты, — прошипел он, и в этом шипении слышалась не просто угроза, а целая вечность презрения. Воздух стал колким, как битое стекло, и каждое слово впивалось в уши холодными иглами.

Упырь дёрнулся, хотел отползти, но тело не слушалось. Он замер, как кролик перед удавом, только красные глаза бешено метались, сисясь найти хоть какое-то спасение, и челюсть дрожала, выбивая сухую, дробную дрожь.

— Как ты посмел, — голос Полоза стал тише, но от этого ещё страшнее, ещё злее, будто змея замерла перед броском. — Как ты посмел даже думать о том, чтобы тронуть ту, кто мне суждена?

И в этом вопросе не было сомнений, было только ледяное, древнее право наказывать. Он не кричал, не метался, он просто констатировал факт, который не требовал ответа.

Упырь дёрнулся, хотел что-то выдохнуть, но вместо слов из его гнилого рта вырвалось только сухое, шипящее сипение, и тут же захлебнулось.

Полоз выдохнул облако чёрного тумана, густого, маслянистого, без запаха, но такого холодного, что воздух вокруг закрипел, как лёд под ногами в лютый мороз. Упырь покрылся инеем, побелел на глазах и рассыпался на мелкие куски,

как перемёрзшая земля, которую ударили молотом, с сухим, дробным хрустом. Красные угли глаз погасли последними, утонув в морозной пыли. На том месте, где он только что стоял, осталась лишь чёрная, выжженная земля, да тонкий запах серы, который тут же развеялся под порывами холодного ветра, словно и не было ничего.

Ждана хотела сказать хоть слово, но тело не слушалось. Холод, что шёл от змея, сковал её до самых костей, и она вдруг почувствовала, как земля уходит из-под ног. Не то чтобы она падала, просто мир стал мягким, зыбким, будто она смотрела на него сквозь мутную воду. Красные глаза упыря уже погасли, а белая голова змея всё ещё была где-то рядом, но Ждана уже не различала, близко или далеко. Последнее, что она услышала, испуганный карк Масяни и тонкое, тревожное шипение Травинки. А потом тьма.

Она пришла в себя на своей постели. Голова лежала на льняном подголовнике, набитом сухими травами, пахло мятой и зверобоем, тело укрывала овчина. Рядом, свернувшись у виска, грелась Травинка, она чуть шевельнулась, когда Ждана пошевелилась, высунула язык и снова спрятала. А рядом возле кровати, сидел Масяня, нахохленный, злой. И тут же закаркал...

— Ты чего это? Я чуть сам не упал! Носились, носились....Хорошо, он...

Ворон осекся, переступил с лапы на лапу, перья распушил.

— Кто? — хрипло спросила Ждана, голос сел, в горле пересохло.

— Полоз — буркнул Масяня и отвернулся, делая вид, что рассматривает что-то в углу.

А за окном вставало солнце, и где-то в лесу, очень далеко, что-то огромное и белое уползало в свою тьму, оставляя за спиной светлеющий мир.

Глава 20

— Сказал, сам лично тебе голову откусит, если еще раз полезешь туда, где тебя быть не должно, — нахохлился Масыня. Перья его зашевелились, будто он сам уже чувствовал эти зубы на своей шее. — И я с ним согласен, — повернул голову в её сторону, жёлтым глазом сверкнул, но не зло, а с усталой тревогой. — Твоё дело, души провожать, помогать уйти тем, кто сам не может: ведьмам там, колдунам, разным потерянным. А не упокаивать поднятые тела, упырей этих. Не твоё это, зачем полезла? Хорошо, что уже в Нави знают, чья ты суженная, быстро змеи весть до него донесли, куда ты пошла, — пыхтел и пыхтел ворон, взъерошенный, злой и на себя, что не углядел, и на неё, что не послушалась, а под конец и вовсе замолк, только клюв щёлкал, будто глотал что-то горькое.

Травинка согласно кивала головой, то высовывая, то засовывая язык, он мелькал розовый, тонкий, будто сердитая нитка, она тоже была недовольна вчерашним днём, вся напружинилась, даже кончик хвоста подрагивал, как струна.

— Хорошо, хорошо, я поняла вас, — вздохнула Ждана, чуть поведя плечами, и перед глазами сама собой встала та большая, страшная голова: белая, с глазами-безднами, с клыками в руку. Представила, как она нависает, разевает пасть, и холодный, могильный ветер уже тянет изнутри, обдаёт лицо,

сушит губы. Как захочет её, проглотить. По спине пробежали мурашки, и она поёжилась, хотя в избе было тепло, пахло сушёной мятой, полынью и зверобоем, и солнце, пробиваясь сквозь щели в ставнях, золотило бревенчатую стену.

— Масик, слетай за Ратибором. Дело есть для него и для сельских мужиков. Могилки-то в порядок надо привести, зарыть как положено, — попросила Ждана, приподнимаясь с кровати. Голос её был тихий, но твёрдый, хотя ноги ещё не слушались, и в пояснице ныло, будто вчерашний холод въелся в кости, и даже сейчас, в тепле, где-то глубоко под рёбрами ещё тлела та ледяная, неживая пустота, что осталась после взгляда Полоза. — Да и мне вставать надо. Не думаю, что смогу что-то большое сегодня делать, но отвары, те что не сложно готовятся, приготовлю. Травы вон, сушёные, на печи ждут. Дело знакомое.

Она провела ладонью по лицу, отгоняя остатки сна, иглянула в окно, где за берёзами уже всюю сияло утро, и птицы перекликались, и где-то далеко, за погостом, куковала кукушка, кому-то век отмеряла, кому-то, может, и счастье сулила. Свет был ещё свежий, росистый, и в этом свете, казалось, сама земля умылась и дышала спокойно.

Вскоре на крыльце послышались голоса, шаги, тяжелое покашливание. Ждана не удивилась, знала, что придут, не могли не прийти, как слышали от Масяни. Поправила платок, провела ладонью по лицу ещё раз, собирая мысли, и вышла на крыльцо.

— Ратибор, там на старом погосте вчера... — начала Ждана, но не успела договорить.

Ратибор и пять мужиков с села, что пришли к ней с утра, замахали руками, заговорили наперебой, голоса их сливались в тревожный гул, как осиный рой перед грозой:

— Знаем уже, Хозяйка, знаем. Ворон твой поведал нам по пути всё. Ужас-то какой творится в наших краях. Волхвов звать надо, непременно звать! — толкали друг друга локтями, вздыхали, качали головами, старым знаком осеняли себя, ладонью к сердцу, к губам, ко лбу.

Ратибор стоял в стороне, молчал, только оглаживал широкой ладонью бороду, медленно, задумчиво, будто мысли перебирал вместе с волосами. Смотрел на Ждану пристально, не отрываясь, и в глазах его была не только тревога, но и какая-то тёплая, отеческая жалость.

— Жданушка, — сказал он наконец, и голос его, обычно скрипучий, как несмазанная телега, вдруг стал мягким, почти ласковым. — Ты нам скажи, что и как правильно сделать. А сама не ходи. Вон, белая вся какая стоишь, и глаза не твои, чужие, будто ты ещё не здесь, а там, где вчера была.

Он шагнул вперёд, хотел, видно, поддержать, но руку не протянул, засомневался на миг, замер. Только вздохнул тяжело, по-мужски, всей грудью, и снова ушёл в свою бороду, задумался крепко, как старый лес перед бурей.

— Могилки-то в порядок надо привести, зарыть как положено, чтоб земля не мутилась. - сказала Ждана.

Она объяснила Ратибору коротко, но толково: землю, что приняла в себя неупокоенное тело, после такого нужно запечатать по-особому, не то она начнёт злиться, плоды портить и новые напасти в село притягивать. Велела каждый холмик по краю окропить ключевой водой, студёной, из самого родника, что у старой сосны бьёт. А под самый конец, обойти трижды с правой стороны, не торопясь, ступая мягко, и бросить на зарытую могилу горсть свежего зерна, ядрёного, с осеннего запаса. Сказать при том негромко, но внятно: «Земля-матушка, прими, чем богаты, и успокойся. Что в тебе лежало, то перележало, пора тебе черёд знать».

— Ратибор, ты только сам ритуал проводи, — голос у Жданы был тихий, но в нём чувствовалась та же твёрдая жилка, что и вчера, когда она кол вбивала. — Мужики пусть закапывают, а ты уж всё остальное, чтоб не мешались друг другу. И походите по погосту, вдруг мы что вчера упустили, посмотрите. Но сами не лезьте, сразу если что, ко мне идите.

Она перевела взгляд на ворона, который сидел на перилах, нахохлившись, и всё ещё искоса поглядывал на неё с укором.

— Масяня, слетай с ними, мне так спокойнее будет. Ты-то в случае чего быстрее прилетишь, да и глаз у тебя острее, чем у иного мужика.

Ворон дёрнул головой, хотел, видно, буркнуть что-то про «няньку из меня делают», но смолчал, только перья распушил и каркнул коротко, будто соглашаясь.

Она перевела дух, прижала ладонь к груди, где всё ещё

ныло от вчерашнего холода, и добавила тише:

— Не ровён час, что ещё осталось. А я пока отвары приготавливаю, кому нужно.

Днём Ждана занималась отварами для села, разбираала травы на лавке, смешивала корни, заваривала в котелках, шептала негромкие слова над зельями, чтобы силу брали. В избе плыл горьковато-сладкий дух дубовой коры и ромашки, мешался с запахом сушёного зверобоя и полыни, и этот густой, пряный воздух понемногу вытеснял из углов вчерашнюю могильную сырость.

После обеда пришли Ратибор с мужиками. Усталые, пропахшие землёй и потом, но спокойные. Сказали, что всё сделали, как она велела: могилы зарыли, солью осыпали, зерно бросили. По погосту прошлись, больше разрытых могил не нашли.

— А ещё... — Ратибор замялся, сунул руку за пазуху и вытащил что-то, завернутое в тряпицу. Развернул осторожно, будто боялся обжечься. На тёмном холсте лежала чешуйка, большая, с мужскую ладонь, белая, с чёрным замысловатым узором, переливавшаяся на свете, как перламутр. — Вот. Нашел на том месте, где упырь рассыпался. Земля вокруг почернела, трава пожухла, а это... это лежало сверху, будто само выпало.

Мужики зашептались. Кто-то отступил на шаг, кто-то, наоборот, потянулся посмотреть, но руку не протянул, боялись.

— Не трогайте, — тихо сказала Ждана, беря чешую в руки. Та была холодной, гладкой, почти невесомой, но от неё тянуло той же древней, ледяной силой, что и вчера от белой головы. — Это его. Полоза.

Мужики попятились, кто-то выдохнул: «Полоз...» — и голос его сел, будто само имя перехлестнуло дыхание. Старший из них, седой, с тяжёлыми руками, провёл ладонью по лицу сверху вниз, коснулся груди, старый осторожный жест, чтобы не пристало лихое. Другие повторяли за ним, шептали заговоры, какие кто помнил. Давно уже в Яви не слышали о Полозе, не видели его, не чуяли. Он стал сказкой, которую рассказывали детишкам на ночь, про древнего змея, что живёт в Нави и судит души. Девушкам в Живин день напоминали спеть, чтобы он услышал, чтобы не прогневался, но давно уже никто не верил, что он и вправду слушает. А вот, поди ж ты, явился. И не в сумерках, не в глухом лесу, а вот она, чешуя его, на ладони у Хозяйки лежит, холодом тянет, и не придумаешь, не отмахнёшься.

Ратибор стоял молча, только усы дёргались, и он всё гладил бороду, будто искал в ней ответ. Глядел на чешую, на Ждану, потом на мужиков. Ничего не сказал, только вздохнул глубоко и перевёл взгляд на погост, где ветер шевелил ленты на голубцах.

Ждана завернула чешую обратно, положила в карман фартука. Мужики переглянулись, но спросить не решились. Только седой, прошептал едва слышно: «Хозяйка... а он...

он теперь... часто будет?»

— Не знаю, — ответила Ждана тихо. — Но чует моё сердце, не в последний раз.

— Земля на погосте будто успокоилась, — промолвил Ратибор, вытирая лоб. — Не дышит уже той чёрной тошнотой, что при нас стояла.

Мужики выдохнули, не все разом, а кто как, будто до этого затаили дыхание и только теперь позволили себе вздохнуть. Плечи опустились, кто-то провёл ладонью по лицу, смахивая не пот даже, а сам страх, что всё это время держал их за горло. Даже седой, что спрашивал про Полоза, чуть приободрился, голову поднял. В воздухе, ещё минуту назад таком густом и тяжёлом, будто поплыла лёгкость, и Ждана почувствовала, как напряжение, висевшее над крыльцом, наконец отпустило.

Глава 21

Ночь прошла тихо. Ни ветра, ни шороха, ни шёпота за стеной. Сны не тревожили Ждану, не приходили ни тяжёлые, ни светлые. Она спала глубоко, без вздохов, и утро встретила отдохнувшей, словно земля под погостом, наконец умытая росой, выдохнула облегчение. Даже бревенчатые стены, казалось, дышали легче, и пахло в избе не вчерашней тревогой, а сухой мятой и чем-то спокойным, домашним.

Рядом, на краю лавки, свернувшись кольцом на сложенном фартуке, дремала Травинка. Кончик хвоста её чуть вздрагивал во сне, чешуя мерцала тусклым зелёным, как мох после дождя, и иногда она тихо, едва слышно, шипела, видно, что-то своё, змеиное, досматривала.

Когда первый луч солнца скользнул сквозь щель в ставне и лёг золотым пятном на бревенчатую стену, осветив древесные трещины и капли застывшей смолы, Ждана открыла глаза. Потянулась и села.

— Масяня, собираемся! — хлопнула она в ладоши, и звонкий звук разлетелся по избе, заставив сухие травы под потолком качнуться, будто ветерок прошёлся по ним, будто сама изба встрепелась от её бодрого голоса. — На старое капище пойдём.

Ворон дремал на печи, свернувшись чёрным комком, голову под крыло спрятал, и перья его, густые, с синим отли-

вом, сливались с тенью печной заслонки. Услышав её голос, нехотя приоткрыл один глаз, жёлтый, мутный со сна, с ленивым прищуром.

— С ума сошла, дева, — проворчал он хрипло, с проскрипом, как несмазанная дверь, и голос его, казалось, выползал из какой-то тёмной, заспанной глубины. — До того капища моего лёту два дня. А твоим пешком... — он запнулся, зевнул, щёлкнул клювом, сухо, отрывисто, и закончил уже с обречённой ворчливостью: — И все три, поди.

Травинка шевельнулась, заворочалась на фартуке, подняла голову. Высунула язык, и повела им, пробуя утренний воздух. Пахло нагретой смолой, сухой полынью и дорогой, которой ещё не было, но которая уже дышала из-за порога, звала. Ждана протянула руку, и змейка лениво переползла на её ладонь, скользнула по запястью прохладной, живой лентой, свернулась у локтя.

— А ты что скажешь, Травинка? — спросила Ждана, поглаживая её по голове, касаясь пальцами гладкой, влажноватой чешуи. — Идти?

Травинка чуть высунула язык ещё раз, будто пожала плечами, и замерла, положив голову на хвост. Ей что, лишь бы солнце да спокойствие. А куда Хозяйка, туда и она. Даже в самую глубь Нави.

— Ну что, Травинка? — Ждана чуть прикрыла глаза, в голосе её зазвенела лукавинка, та самая, что всегда вылезала перед тем, как затеять что-то необычное. — Покажем старо-

му ворчуну, что не три дня ходу, а за час можно добраться?

— Я не старый! — возмущённо каркнул Масяня, распушив перья и вытянув шею, отчего стал похож на взъерошенную, чёрную тряпку на ветру. — Я в самом рассвете сил! Да я ещё... даа я... у меня птенцы ещё могут быть, если бы я не возился с тобой, такой неугомонной!

Он обиженно замолк, только клюв щёлкал, будто глотал что-то невысказанное, обиду, страх, усталость, и смотрел на Ждану с таким видом, словно она только что отобрала у него самое дорогое: его молодость и свободу.

Ждана прикрыла глаза, пряча улыбку, и ласково погладила Травинку по голове, чувствуя, как та потянулась под пальцами.

— Ладно, ладно, не старый, — мягко сказала она, и голос её был тёплый, как парное молоко, — такой, что птенцы ещё будут. Это я чтобы ты проснулся, так пошутила. Ты у меня самый лучший ворон. Собираемся.

Она легко поднялась, поправила рубаху, надела фартук. Тот самый, крапивный, тёмно-зелёный, цвета мха в сосновом бору. По подолу его алым огнём горели вышитые знаки, волны берегинь, что держат границу между мирами. Фартук был мягкий от времени, пахнувший сухими стеблями и чем-то горьким, давним. Она огладила его ладонями, проверила, ровно ли лежит, сунула в карман пучок полыни.

— Дорога долгая, а дел впереди много. Негоже мешкать, когда мир не спит.

Масяня, ещё взъерошенный и полный чувства собственной неоценённой значимости, сердито сверкнул жёлтым глазом, но всё же тяжело поднялся с печи, перелетел на спинку лавки и принялся чистить перья, деловито, с достоинством, с таким видом, будто он не ворон, а боярин на смотре, показывая, что он, в отличие от некоторых, всегда готов к любым приключениям.

Перед дорогой, по обычаю, она обошла избу, не спеша, ступая босыми ногами по прохладному полу, касаясь пальцами нагретых солнцем половиц, и затянула негромко, вполголоса:

Мать-Сыра-Земля, пусти к корням,
В Навь дороженьку укажи...

Ждана тихо напевала, перебирая пальцами край фартука, и голос её стелился низко, как туман над оврагом, проникал в щели, в углы, в самую душу избы, заставляя даже сухие травы под потолком вздрагивать и шелестеть в ответ.

Масяня сидел как обухом по голове ударенный. Перья на загривке встали дыбом, глаза округлились, жёлтые кольца расширились.

— Как опять в Навь? — прошептал он, и голос его сел до хрипотцы, а потом сорвался на встревоженный скрип, как несмазанная ось в мороз. — Жданушка, да пожалей ты старика!

Он замотал головой, завозился, переступая с лапы на лапу, будто уже чуял тот ледяной, неживой холод, что въедает-

ся в кости и не отпускает, и от каждого его движения перья по телу вздрагивали, шевелились.

— Мои ж крылышки, лапки от холода Нави болеть будут! — запричитал он, покачиваясь из стороны в сторону, как старая кукла на верёвочке, и в этом покачивании было столько отчаяния, что даже Травинка высунула голову, посмотреть. — Да что ж делается-то на этом свете! С утра не позавтракали, не погрелись толком, а уже, в Навь?! В Навь?!

Он замолк, обиженно взъерошился, отвернулся к стенке и замер, только перья на затылке вздрагивали мелко, часто, как сердце перепуганной мыши, выдавая его тревогу.

Травинка посмотрела на ворона, потом на Ждану, и снова спряталась. Ей что, она змея, холод не страшен. А вот крылышки... крылышки жалко.

— Масик, ну ты ж не старый птиц, — чуть посмеиваясь сказала Ждана, пряча улыбку в уголках губ, и в голосе её слышалась та самая тёплая, грудная нотка, от которой даже ворон не мог долго сердиться. — Мы тут ещё птенцов ждём, наследников. Какие лапки и крылья? Молодой ты, не ворчи.

Масяня дёрнул головой, хотел что-то буркнуть про «нашли молодого», про «птенцы еще за горами, а Навь вон где, рядом», но смолчал. Только перья распушил, приосанился, будто надел на себя невидимую важность, и отвернулся, показывая, что обижен, но уже не смертельно. Даже глаз приоткрыл, щёлку, следит.

Выйдя за порог, она ступила на тропу за избу, где старые

сосны стеной стояли, и одна из них, самая старая, корявая, с корнями, уходящими в самую тьму, скрывала дверь в Навь. Отворила замок-змею, повернула ключ, перешагнула, и знакомая тьма сомкнулась за спиной, отрезая мир живых. Тот же тягучий туман, та же тишина, что уши закладывает. И змеи по краям тропы провожали взглядами, узнавали, поднимали головы, кланялись.

Троп в Нави много. Расходятся в разные стороны, как нити из одного клубка: одна, к мёртвой воде, другие к таким местам, где и время течёт иначе, и воздух не дышит, а стоит. Ждана выбрала ту, что вела на север, к истокам, куда даже не все змеи заползали.

Масяня нахохлился, прижался к плечу, когти вцепились в ткань, и он не каркал, не вздыхал, только дышал тихо-тихо, боясь лишний звук. Травинка высунулась из кармана, повела головой, пробуя воздух, и снова спряталась, глубоко, к самому телу, ища тепло.

— Не бойся, — шепнула Ждана, ступая на змеиную тропу, и голос её в этой тишине прозвучал громко, как камень, брошенный в воду. — Мы не одни. Здесь всегда были свои.

— Полоз, например, — чуть каркнул Масяня, оглядываясь по сторонам, и в голосе его проскребала едва заметная усмешка. — А что? Он теперь тоже свой, — ворчливо добавил он и тут же замолк, будто сам испугался того, что сказал. Перья на загривке снова встали дыбом, но он не стал ничего объяснять, только отвернулся и спрятал клюв в перья, де-

лая вид, что таким образом разглядывает сумрак между деревьями.

Травинка высунулась из кармана, глянула на ворона жёлтым глазом, высунула язык и снова спряталась. Мол, сказал, не бери назад. Поздно. А Ждана только покачала головой, пряча улыбку, и пошла дальше, ступая мягко, как по знакомой тропе, хотя ноги сами собой чуть дрожали, от холода ли, от того ли, что ворон правду сказал, а от правды не уйдёшь.

Глава 22

— А почему именно этой тропой идём? А что будет, если другой пойдём? — спросил Масыня. Голос его звучал приглушённо, будто он боялся спугнуть тишину, что стелилась вокруг, тягучая и холодная, и даже собственные слова казались здесь лишними, чужими.

— Другие тропы ведут в другие места, — произнесла Ждана, и голос её был тих, но твёрд. — В другие земли. Я туда не ходила. Бабушка говорила.

Она помолчала, глядя в серебристую мглу, где тропа терялась среди корней.

— А сама-то она пробовала? Ходила? — спросил ворон, и в голосе его проскребло любопытство, которое он не смог спрятать даже под слоем напускной ворчливости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.